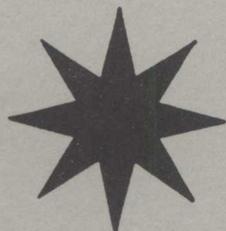


А.ВОЛОХОНСКИЙ

ПОВЕСТЬ  
О  
ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ  
ЛАНЫ  
И  
ТАРБАГАТАЯ



анри волохонский

ПОВЕСТЬ

О

ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ

ЛАНЫ

И

ТАРБАГАТАЯ

«СИНТАКСИС»

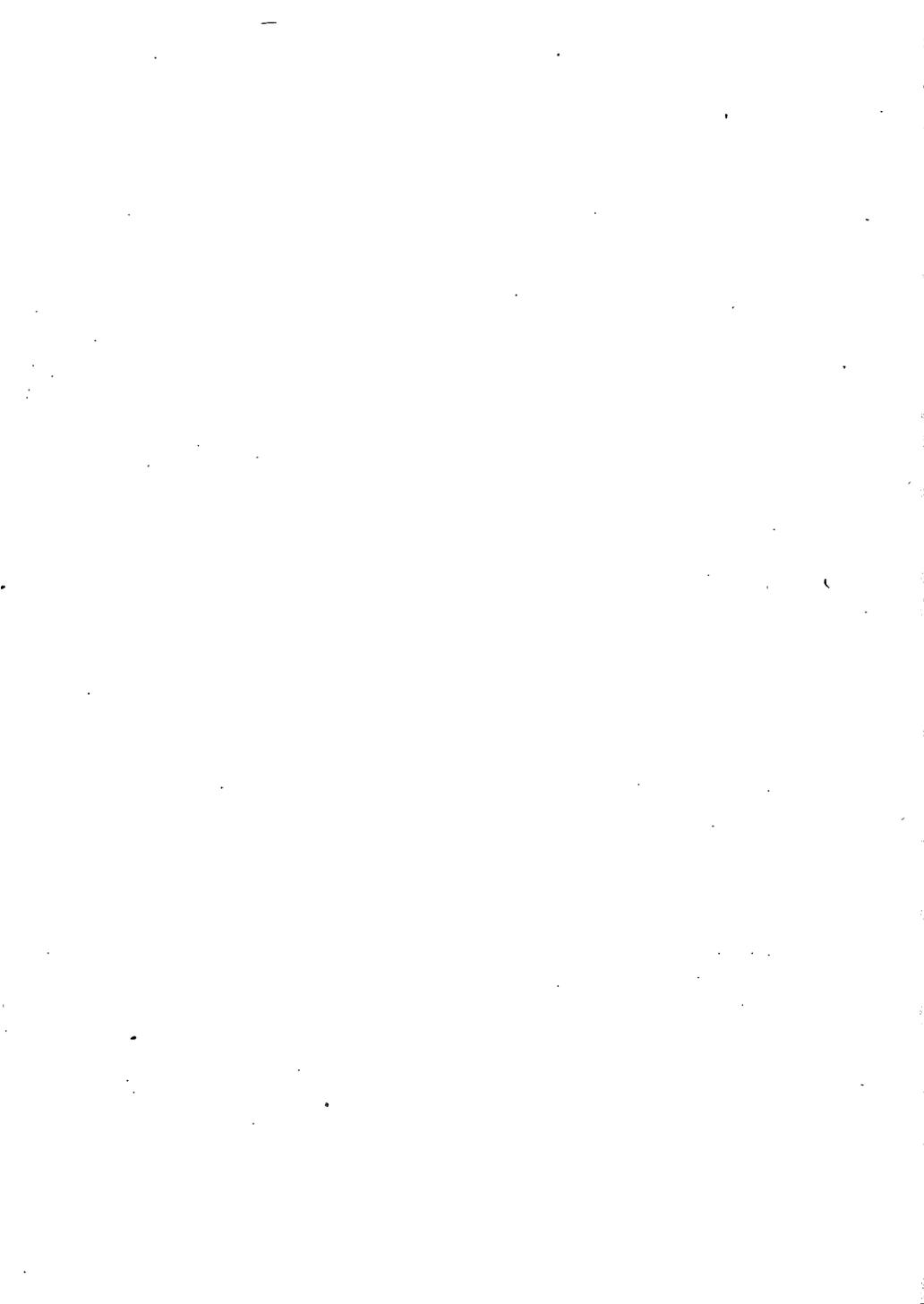
ПАРИЖ

© SYNTAXIS 1991

8, rue Boris Vilde  
92260 Fontenay aux Roses  
FRANCE

## Оглавление

Зов слова	5	
О предках Ланы и Тарбагатая		11
Также о предках		15
Воплощение	18	
Почему суждено		23
Два слова о сестрах		34
За кваггой	41	
Лето Тарбагатая	51	
Большой толчок	58	
В стране чудес	66	
Сон	78	
Облава	87	
По голым мудрецам		93
Сытин и Авель		110
Случайная встреча		120
Теперь о Лане		126
Московские древности		134
Стукнабрата	138	
Нападение	144	
Пыль в глаза		156
Буря	163	
Поставленная цель		178
Птичий эрос	192	
Новый выход	201	



## ЗОВ СЛОВА

Если когда-либо удастся свести все жанры письменной словесности к единому первообразу, таковым несомненно окажется донос. Речь идет не о развлекающей обывателя болтовне, а о серьезном чтении, о нынешней нашей прозе. Поэтам тоже случается поделиться особым знанием, но то – вспышками, по увлечению. Ведь поэзия – род легкий, старинный, незрелый, а хороший донос должен быть существенным, глубоким и весомым. Там вся скрытая истина жизни должна быть высказана как есть, и еще очень важно, чтобы сочинитель не ограничил себя внешней стороною вещей, но углубился в ее невидимое строение. Нужно сообщать не только о действительных поступках, но и о внутренних толчках, которые объяснят как душевные только вначале движения претворятся однажды в живые виды. Внешние обстоятельства ведь нечасто выходят из ряда вон, но именно скрытые душевные вихри составляют тот мутный воздух, в котором зарождаются разные редкостные исключения. Их-то и следует обнажать, срывая пустую туманную оболочку. Заурядное бытие, жизнь даже вовсе без событий станет тогда чудовищно любопытной. Основное требование здесь – искренность. Сообщения, сделанные неестественным голосом, никогда не заставят себе верить. Описываемые лица должны думать, говорить, поступать так, чтобы при чтении не исчезало убеждение, что вот именно так оно все и происходит. Частные подробности также важны, но лучше, если их достоверность душевной природы, а не следует за тупыми видимостями. Искреннему тону должен отвечать пафос пользы и правды. Начинающие часто выбирают не самый верный путь: берутся описывать жизнь с неизвестной точки. Выходит: «город глазами собаки», «лошадь ногами телеги». Глаза и ноги однако подводят. Не зрение и не граци-

озная походка нужны истинному писателю, но совершенный слух. Понятно, не слух музыканта, который различает звучные ноты, нет, слух писателя должен быть гораздо более изощренным, а главное – направлен к восприятию такого нестойкого пения, которого никогда не разберет наилучший умелец-скрипач. Трепет души – вот что обязан уловить наш развинченный флейтист. Штучки с глазами – чистое ребячество. Все равно ведь ясно, что писала-то не собака и не телега.

Бывает – и это, разумеется, шаг к творческой зрелости. – изображают нечто глазами очевидца. Но и тут есть некая искусственная неполнота: чтобы найти движущую силу, очевидец сам вынужден встать в положение вроде собачьего – иначе что, собственно, нового мы от него услышим? А свежесть просто необходима. Обыденные известия те, кому надо, сами сочинят и без помощи пишущей братии. Вместо простенького лепета: «я видел» в подлинном творении должно трубно греметь убежденное: «я знаю!». Пусть истина проистекает из недр сочиняющего «я» естественно как река, и исповедь – наиболее подходящий сосуд для подобного излияния.

«Доносчику – первый кнут» заповедали нам народные нравы. В словесническом повороте это нужно понять как требовательный совет прежде обнажить собственную душу, вынести на свет Божий все, что в ней затаилось, и лишь потом тянуть руки к одеждам друзей и родных или метлу с дегтем к воротам соседей. Эра маньеризма, который когда-то сковывал писателя не имеющими отношения к делу понятиями вроде стыдливости и чести, давно отошла. Ее могильщики научили нас говорить обо всем откровенно и прямо. Зато мы теперь знаем такое, о чем и не помышляли наши надутые прадеды. Но дело сочинителя оттого не стало легче, напротив, намного труднее. Каждый из нас обязан превзойти предшественника полнотой наготы и пронзительной правдой всего своего голого естества. Это с самого начала исключает подражание или учени-

чество. Мы обязаны донести до читающего внутренний строй нашей души во всем его неизрекаемом своеобразии. Это требует напряженного самоуглубления – тем полнее будет последующее саморазоблачение, а раз обнажившись, еще как смелее будем мы раздевать все вокруг, ибо на нашей стороне теперь право раскаявшегося по отношению к тем, кто затаив все пороки внутри, не дерзает их честно явить свету. Такая опора неуязвима. Кто станет защищать приятную ложь против горькой правды? Кто не усовестится предпочесть искусную безделку слову сокрушительной истины, задевающей самые устои всеобщего? Жрец и жертва в одном лице, исповедник-сочинитель – всегда на все готовый победитель.

Подобные размышления водили мною, когда я брался за это дело. Цель моя не была вначале отлична от тех, какие ставят другие. Я хотел раскрыться, рассказать всё и примером увлечь пишущий народ в новый смерч головокружительного самоочищения. Но стоило мне заглянуть к себе внутрь, как я там ничего не обнаружил. Рассматривая, я видел, разумеется, кое-что, но это было уже известно, выложено кем-то другим, а не мною. Личного же, особенного, моего собственного, чтобы оповестить мир – такого не находилось. Неужели моя душа состоит из всем известных мыслей? – подумал я, и это повергло меня в глубокую ипохондрию.

Я попробовал описать ее в незамысловатых стихах:

Тот весел чья мысль и светла и мудра  
Меня ж ипохондрия, злая хандра  
Сильней кузнеца, холодней коновала  
К устоям души естеством приковала

Перечитал и воскликнул:

– Силы небесные! Тоска-то какая! Где они – устои души?

Пораскинув однако умом, я понял в чем суть нехватки. Мне следовало прежде получить самое душу в чистом виде, а уж потом пытаться описывать ее тонкие ушербы. И вот тут-то темная неясность встала передо мною во весь свой огромный рост.

У нее была еще одна сторона, чисто внешняя. Вряд ли мимо читателя прошло маленькое сообщение о космонавте Сытине. На всякий случай я его здесь все же приведу, сократив за счет извилин говорения и частностей, которые легко домыслить.

### *Отчего оглох космонавт Сытин*

*Он вернулся в таком виде с Деревянной Планеты. Она не всегда была деревянная. Раньше она была из ваты. Но после этой революции все сразу бросились хватать стукачей, те побежали к ракетам и улетели с перепугу в космос. Летели сперва куда глаза глядят, потом стало их затягивать. Думали черная дыра, смотрят - нет, впереди что-то белеет. Снег, снег! - кричат. А топливо кончилось. Падают один за другим в этот снег. Оказывается, вата. Целая планета - сплошной ком ваты. Стукачи тут же принялись за дело: стучать по вате. Десять лет стучали. Планета уменьшилась раз в сто, плотная оделалась. Те все стучат. Грохот жуткий, уже не вата - дерево, и не трухлявая какая-нибудь ольха, а мореный дуб. А жрать нечего, кругом одна вата, опилки, щепки и бесплодная деревянная почва. Нашелся правда среди них биохимик, вывел фермент, чтобы переваривать кору как в термитнике. Стало полегче: гадят дегтем, мочатся метиловым спиртом и стучат. Еще через сколько-то лет залетел к ним космонавт Сытин. Рассказывает - слушать страшно. У них все слова на «стук». Древнейший способ передачи информации: «точка-*

тире». Не планета, а какой-то там-там.

Они его спрашивают:

– Стукотовы ли вы стукти на уступки?

А повыше лозунг висит: «Гнить или стучать?» Столица кстати называется Стуква – тоска по родине.

Сытин им в ответ:

– А чего это вы стучите, а не булькаете?

– Где булькать? Воды-то нет... – а потом разозлились:

Ты – орут – гнилой стуктелестукал, подозрительный убиквист!

– Ну – думает. Сытин – проститься с теплою постелью, пойти сразиться с инфиделью, тут дело такое, что только ноги – и обратно в космос.

А любви между ними никакой нет, только пилят друг друга и трахаются.

Вернулся глухой как пень.

Не стоит объяснять, это злая насмешка. Под «Деревянной Планетой» разумеется все та же наша словесность, и что такое «вата» знают все, кто имел с ней дело. Злобная некрасивая выходка, но огорчила меня не она, а ее полная правота. Наблюдаем, действительно, однообразие, наилучшие намерения при полной неспособности их осуществить. Неужели мои собратья тоже не нашли в себе ничего нового? Что будет, если я сообщу им о собственных разысканиях, а разоблачение на время отложу? Да и как можно писать о душе, когда в наше время не знают даже, откуда она взялась?

Теперь мое предприятие стало напоминать воскрешение Лазаря. Я должен починать душу, блуждающую около своих первых истоков и вдунуть ее назад, в тронутое гниением тело словесности. Тут-то я, наконец, приступил и вышел на поиски – в книгах, в обозримом мироздании, путем расспросов ближайших знакомых.

Книги мне мало помогли. О душе никто и не помышляет: века холодных умствований сделали свое. Между тем для наших предков бытие души было вполне отчетливо, ибо основывалось на различии между трупом и живым телом. Они конечно путались в заблуждениях о ее последующих судьбах, но тут совсем другой вопрос, хотя больше высказывались как раз об этом: бессмертна ли, что ждет ее за гробом, вернется ли назад в иное тело, останется ли вся такой как есть или уйдет в небытие и т.п. Меня это не просветило. Я стал понимать, что все здесь – надежды душ довольно зрелых и опасно из них заключать о происхождении: слишком уж явственна печать посясто-ронних выгод. Определения душ тоже были туманные, места пребывания указаны на основе зыбких догадок. Душа-де живет в крови, в груди, в голове, в животе. Существуют сознательны, чувствительные, разумные души, растительные и животные. А с другой стороны – души песков, камней, глин и вод, словом, какой-то хаос. Сколько-нибудь внятные утверждения попались мне только в двух местах. В энциклопедии против слова «душа» значилось: «единица обложения, учрежденная Петром Великим». Иную версию я смог извлечь из «Текстов Кипарисовой Трухи», выпавших из брюха медного будды, в той их части, которая называется «Некоторые мысли господина Ту», но об этом потом.

Я обращался с тем же вопросом и к живым людям.

– А, происхождение душ... Это вопрос для священника – сказал мой друг Авель.

Отец Б. в изумлении оторвал руки от руля (мы поднимались в гору в его автомобиле. Смеркалось) и воздел их к небу:

– Я тридцать лет в сане, и вы первый, кто спрашивает меня об этом. Сказать по правде, я думаю, их создает Бог.

Последние слова он произнес на трех языках сразу.

– Вот – подумал я – энциклопедия валит на царя, а монах – на Бога...

Отец В. пересказал мне книгу доктора Моуди о переживаниях после смерти, когда ее установят врачи, порассуждал, а под конец откровенно признался, что ничего не слышал о происхождении душ и никакого мнения по этому поводу не имеет.

Мои собственные размышления оказались донельзя просты. Я решил сначала узнать: кого больше – живых или мертвых.

Люди, если их не пугать, размножаются согласно простой пропорции. В трех поколениях число внуков равно числу отцов и дедов, вместе взятых. Значит число всех мертвых предков равно количеству детей в живом поколении. То есть живых всегда и намного больше: ведь есть еще внуки и отцы. Из чего вытекает, что по крайней мере часть душ должна возникать заново. И тут для меня мгновенно прояснилась живая связь между происхождением душ и образованием тел. Все уперлось в любовь, наготу, в ее генеалогию, биологию и физиологию, в демографию рождений, смертей и браков, а в конечном счете – в самое хромосому, тонкое цветное тело, которое является как бы невидимой душой нашего зримого тела – плотного, бесцветного, темного.

## о предках ланы и тарбагатая

Что если я сообщу например:

«Отец Ланы, Кронид Евлогиевич Остов, был совершенно лыс»?

Или такое:

«Дедушка Тарбагатая мухоморы ел как мух»?

В наши дни мы не видим династий: дети королей редко

остаются королями. И в профессиях нет прежнего преемства: дочь торговца – музыкант, физик – сынок портнихи. Кем станет в свою очередь их чадо? И разве не звук поправляемых зубов в ушах деда с ловкими руками влиял на умственное продвижение внука-структуралиста? Или передаются одни нравственные свойства? Некоторые древние так и думали. И нам нет нужды сочинять зыбкие догадки об отдаленных предках Ланы и Тарбагатая, о том было кому позаботиться, а на нашу долю остались одни толкования. К ним мы и обратимся.

«Тексты Кипарисовой Трухи» выпали из брюха краденной медной фигурки. Оказалось, будда набит сухой хвоей кипариса. В трухе лежали три свитка, обернутые редким цветным шелком. Один имел начертания тибетским письмом дбу-чан. Свиток был исследован знатоками, которые выяснили, что текст содержит два уровня: эпический и магиико-философский. Эпические части передают легенды, известные из других источников и включают не много своеобразия. Зато высказывания, приписываемые господину Ту, имеют лишь единичные параллели.

Ниже идет сокращенный перевод эпической части свитка.

## *История Мотыги*

*У человека по имени Кынь, что значит «Мотыга», был брат господин Хэ. Этот Мотыга возделывал огородное поле. В бороздах произрастали живые ростки, которые втягивали ветер, воду и свет, и их корни достигали больших размеров. Иные выбрасывали вверх стебли, на их вершинах развевались листья, цветы и возвращали небу заимствованный у него цвет и воздух.*

*Господин Хэ гонял овец с места на место. Старший*

брат был внутренне недоволен:

– Растения неподвижны. Они цветут и толстеют.  
Пустой человек господин Хэ.

А Хэ гонял овец против ветра высоко на холмах.

Мотыга изредка наблюдал за ним. Вот он увидел, как Хэ положил поверх деревьев барана и стал жечь.

Рыжее огненное дерево высоко простиралось над бараном господина Хэ. Мотыга подложил к пламени вздутые корни, но рыжее дерево не росло. Тогда он взял в руки мотыгу и убил господина Хэ. Пошло много крови. Земля вокруг растрескалась и стала впитывать кровь. Кынъ снова попробовал копать землю. Тогда кровь стала кричать. Мотыга испугался и убежал.

Он ушел, махая копьём, в направлении солнечного огня на ту сторону земли, где кровь более не кричала.

## История Плуга

Седьмой потомок Мотыги был существом, наделенным дарованиями. Возможно он был драконом. Так думали, потому что его жены носили странные имена. Сам же он звался Лямка или Лемех. Последнее означает «лезвие плуга», Плугом его и звали.

Он любил своих жен и сочинил им следующие стихи:

Старого – за пощечину  
Малого за зуб-тычину...

– в таком роде.

(От повествователя:  
Это было очень давно, во времена

Великого Царя Двух Рек  
И Царя страны, где отдыхает Бог  
И велеречивого Царя Земли Вершин  
И так называемого Царя Народов

как раз когда Самоедский Бардак шел походом на Воню Нарынского, году этак в 1534-ом, по иной хронологии.

Мы же вернемся и продолжим Текст из Трухи).

*Плуговы дети носили имена: Господин И, Господин Ю и Господин Ту. Последний пошел по ремеслу отца – по меди и по железу. Господин Ю поселился между Желтой и Красной рекой и завел у себя нежные нравы. Он научил вещи подражать звукам голоса и наслаждался их голосами, когда вызывал их губами и пальцами рук. Господин И, старший брат, откочевал на север.*

Это очень важное известие, потому что Тарбагатай происходил, кажется, из рода И. Говорят, Тарбагатай увидел свет в юрте, в чуме, в кибитке, в домике на колесах или, наконец, в фанзе.

## *История Сита*

*Некто Сито родился уже после того, как убили господина Хэ. Думали, что он для того и родился, чтобы жить вместо мертвого: земля еще пустовала.*

*Сито редко радовался и выражал досаду и страх. Он боялся, что его тоже убьют. На небо он смотрел с напряженным ожиданием то счастья, то несчастья, робел и нашлеп. Со временем он вообразил, что рождение и смерть происходят от одной причины. Такими рассуждениями он привел небо в смущенье. Но слов тогда было немного.*

*Постепенно все стало другим. Потомки Сита были первыми, кто начал различать движения и вещи, так как это уменьшало страх. Но в глубине души они не изменились.*

## также о предках

Прервем речь Кипарисовых Игл.

Напрасно думают, что прошлое содержит все любопытное. Прошлое подобно изнанке вещей. Оно тошнотворно.

Встанем лицом к морю.

Лана была из числа потомков Сита. Ее отец был совершенно лыс.

А теперь – передом к лесу.

Дед Тарбагатая мухоморы ел как мух. Сын той земли, он привык питаться произведениями почвы, на которой вырос. Нужда превратилась у него в добродетель, добродетель в наслаждение, наслаждение в привычку. Привычка вновь рождала нужду. Зубов давно не было, был стар, поэтому ел всласть и помалкивал. Потом сидел и летал, уставивши глаза как от спиленных суков, а дела делала бабка. Собирала трын-траву, белену и череду. Рвала иван-чай с молочаем, брала также рис-схизис, который сушила. Папавер перетирала и с мятоу жгла, а крапиву мяла. Немного копала. Находила, бывало, перья, крылышки, а то и всю тушку. Особенно радовалась, ко-

когда попался ей сычик. Схватит и трясется: Сычик, сычик ты мой...

Обратимся опять к закату.

О том, кто там что ест, можно рассуждать до бесконечности. Ева, например, обожала яблоки. За яблоко она готова была отдать даже вечную жизнь. Конечно, Змей подкатился к ней, когда она была беременна.

– Вообще-то – она говорит – нам нельзя. Плоды эти чистая отравка.

– Нет – говорит Змей – если понемногу, то можно. Даже просвещает и просветляет. Как, знаешь, лекарство: залпом оно и правда пожалуй вредное. А одно на двоих – немыслимое счастье, я сам пробовал.

Раньше причины и следствия часто менялись местами. То и дело читаешь такое: «Ей вдруг захотелось ягод, она поела и родила (сына)». Словно бы от ягод. Возможно в этих прихотях что-то есть. Иногда ей хотелось какую-нибудь зверюшку, насекомое. Нет ли и здесь таинственной связи? «Она вдруг изловила паука и родила...» Будет ли тот, кого она родила и вскормила, помнить о том, кого она изловила и съела? Пойдет ли он во флот тралмейстером? Или будет бить мух словно Домициан, римский кесарь? Или соберет живых пауков, чтобы наблюдать их схватки в банке, как это делал философ Спиноза?

Если же даму принималось после этого рвать, то оттого лишь, что живет она уже давно не в раю.

Хотите знать чем питалась Ланина мама, когда была ею на сносях? Извольте. Она ничем не питалась. Ее тошнило от пищи. Или – извольте... Она питалась сентенциями будущего отца, от которых ее мутило.

Внешняя сторона, хоть и малосущественна, но такова. Отец Ланы был профессор в одном из университетов столицы, жена – его ученицей. Не питая страсти к учению, она питала

другие страсти, и вот она на сносях.

А ела она мутные порошки в коробках, истребляла жидкую воду, втирала в себя ртуть, нефть, земляное и бамбуковое масло, сурьму, хурму и сулему. Изредка пощипывала рыбу ногтями, лакобилась разваренной желатиной подкрашенной под гуттаперчу, и после этого ее рвало в театре. Добывала морских ракообразных из их убежищ, но для этого ей не приходилось нырять, а также все то, на что можно было обменять грязные деньги в кафе на углу их улицы и той, что проходила неподалеку. Тут история растягивалась до полуночи. Шум падающей воды поднимал на ноги всю окрестность. На головы нижних сыпалось от топота верхних, обнажались плетеные перекрытия, вздувались шары на обоях, качались живые золотые ирисы, стекла потели и цвели пернатыми папоротниками, чтобы оттаять к утру – а ее воротило от капель на окнах. Тогда она лизала их и чувствовала вкус пара и твердого стекла, но стоило ей исполнить прихоть, как вставал призрак вчерашнего каменеющего крахмала из-за дверцы через дорогу напротив, и она извергала в конце концов чистейшую желчь, сверкающую как электрон и горькую как ярь-медянка.

Бедная женщина оставалась одна в разоренной комнате, когда Кронид Евлогиевич уходил работать. От одного слова «университет» с Софьей Павловной делалось совсем плохо. Бледная, покрытая бурыми пятнами, словно она была рысь, жена сидела на постели в сорочке и глядела сквозь тающее окно в серое небо над уходящими вдаль бесконечными постыдными частями столицы. Университет... Прилетало высокое, прозрачное, желтое. В этом желтоватом среди бегущих вверх извилистых линий двигались студенистые люди, и сквозь одежды можно было разглядеть их текучие тела. Одно из них был ее муж – прозрачная кожа с бумагами держалась подмышкой. Тут он открывал рот и оттуда вытягивалась длинная речь, а череп еще поблескивал. Софья Павловна уже без созна-

ня трогала размокшее ожерелье из костяных черепков на туалетном столе, стискивала зубы, звенело в ушах, диафрагма, собравшись в кулак, поднималась выше гортани, университет бледнел, наливался кровью, речь глохла и спасительный сон: видение того же здания, распластанного по ковру и скатанного в трубу – а в трубе сидела она сама и ела маковки лесного торта с мухоморами – спасительный сон ее на время выручал.

Мы хотели знать, что она ела.

Но почему Лана так рано принялась отрицать все, что предлагала ей изголодавшаяся мать?

Об этом здешняя серая муза помалкивает.

## ВОПЛОЩЕНИЕ

Роды были вроде кувады. Остов снес два яйца величиной с портфель. В скорлупе одного, разбитого прежде срока, оказалось много бумаги, всё какие-то предположения. Но многое было невразумительно: период начинался с «ясно что..», а следовало совсем другое. Общее впечатление было как от оркестра с хором, когда собираются исполнить огромную ораторию, и вот, первые скрипки берут первые такты, деревянные духовые прилаживаются выдуть знакомые части фраз, шелестит нотная бумага, из угла вдруг доносится удар в гонг: кто-то уронил валторну, порхают листики вокальных партий, а сам рукоплескающий творец еще не встал с палочкой на возвышение, но вот-вот выйдет. Однако и эта благородная композиция показалась бы слишком вещественна и груба рядом с той воздушной пляской мысли, которая именно нестойкой хрупкостью побудила Остова облечь ее в скорлупу и которая затем в силу случайностей внутреннего произвола скаталась

в белую неверную сферу и приняла двусмысленный вид яйца.

Второе яйцо Кронид Евлогиевич куда-то спрятал. Его поступок породил сплетни. Судачили, что Остов второго яйца вообще не сносил, что он Лану (как раз тогда Софья Павловна благополучно разрешилась девочкой) нашел в книге и употреблял было вместо закладки, а потом надул, как, знаете, «резиную Зину». Подвергали сомнению роль отца, отрицали участие матери. Завидовали.

Тем временем Удей Атаев катался один по полу в домике на колесах. Жена ушла на охоту. Отважная женщина на девятом месяце была медведя колодой. Когда она с младенцем в объятьях вернулась в кибитку, нашла его мертвым, с кровью у губ. Она поставила голову у изголовья и молча вышла. Белая мохнатая морда не шевельнулась. Стеклообразные глаза были закрыты до половины, синий рот. Тело осталось далеко. Реки и ели пели славу птице охотника. Перьями покрытые руки протягивались к ветвям и высоким гранитным скалам над водой. Пищал редкий цветок в каменной расселине. Луна тоже стала птицей – бледная на голубом небе, одна ее половина, прозрачная и белая. Прошел короткий ливень, и грибы взбесились подо мхом. Мутная листва сосен покрылась певчими каплями и запылала, зазвенела кора стволлов. Она поднималась все выше и выше, покинув у корня молчащее дитя. Потом его подобрала старики.

Раннее детство Тарбагатай провел в деревянном корыте. Он лежал и смотрел в потолок фанзы, куда улетали искры и дым от сложенного внизу очага, а когда корыто с ребенком выносили наружу, глядел не мигая в синее небо, где качали вершинами бесконечные медные сосны. А по небу двигался мягкий белый огонь округлый. Когда спускался, он желтел и приобретал очертания, а потом он краснел и, сделавшись жестким багровым шаром, касался вершин черных сосен своей внешней чертой, и сосновые ветки вновь загорались на полу

очага, когда корыто уволакивали внутрь юрты. Это бабка бросала огню серые ветки на середину пола, они краснели от воздуха, от них отлетали рыжие искры, улетающая белея в трубу чума вверх, выше сходящегося потолка.

– Там из них составляется новое солнце, – так говорило себе дитя и продолжало молчать.

Послушаем шорох Трухи Кипариса.

### *Некоторые мысли господина Ту*

*Скажем, ветер это дракон, а огонь это рыжий дракон. Если построить ему дом и дать рыжей земли, он обернется своей землею в виде меча: это будет серая земля, железная молния, жало дракона. Если дать ему зеленой земли, травянистого горного мозга, он изольет рыжей медью. Зеленое он делает рыжим, рыжее белым. Его сила в сверканьи: он уничтожает черное.*

*Тело земли состоит из прозрачного каменистого воздуха, похожего на лед, и белого мягкого глинистого воздуха, похожего на снег, в ней есть также белая как иней горечь, однако то, что считают силой земли, содержится в ее красных и зеленых соках. Огонь этих соков застыл, они на вид неподвижны. Все черное в составе земли относится не к земле, а к теням верхнего и нижнего неба, к внедряющимся в тело земли чуждым ей мертвым телам. Ведь сама земля не рождается и не умирает.*

*Верхнее небо огненное, нижнее небо железное. Возможно, соки земли тоже небесного происхождения: земля стоит у неба в тесном повиновении, ее жилы и нервы оплетены драконом воздуха, ее огонь почти невидим. Выходит влечет к себе зеленую мысль земли, свет – ее красную кровь, но рабство земли невыносимо.*

Только рыжий дракон способен освободить родственную сущность, другие драконы ему враждебны.

Зеленый дракон говорит:

– О, если бы я был белым!

Верхние крылья у него голубые, а нижние – желтые. Это желтобрюхий дракон, Зеленый Ветер. От желтого до голубого ему принадлежит шестая доля, поэтому он никогда не бывает холодным и теплым. Его сковывает тьма, хотя прямого доступа к нему она не имеет. Он и стал бы белым, если бы тьма раздвинулась, но тогда ему пришлось бы иметь перья среди замерзающих и пылающих. Быть белым, пустая мечта: границы видимого могли бы настолько разойтись, что мы видели бы течение, но утратили бы способность различать отдельные жесты. Я думаю, зеленому дракону предпочтительно оставаться зеленым. Так он запечатлевается в зеленой листве, и – говорил мне брат Ю – это он завывает в тростях и в бамбуке. Будь оно так, я понял бы суть отверстий и значение тьмы, которая в них.

Желтоватая древесина тянется в воздух вслед за листвой. Но как можно так заблуждаться? Не будь небесный огонь рыжим и красным, у ветра не нашлось бы в дереве должной опоры, он потерял бы свои основания, а без светлого змея мысль дерева оставалась бы бесплодной мечтой. Если рыжий дракон прячется в зеленом одеянии, это всего лишь разумно.

Иногда говорят: вода и зеленый воздух уходят из дерева, оно чернеет. Но смысл тут другой: это рыжий дракон оделся в уголь, не более. Он не исчез, он только отступил во тьму. И если Дуй-дракон, Зеленый Ветер повелит Рыжему раскалить чешую, свой серый синий металл, родится его железо – серый феникс красной земли. Это ее кровь блестит в синих перьях.

Те, кто думают, что труп света черен, касаются неглубокой поверхности... Я знаю, что трупов не существует.

## София

А отец Ланы ведь был профессор по профессии. Преподавая, проповедовал он философию, от которой он философствуя профессорствовал, и его коллекция книг была собранием черепов. В них жили мертвые мысли, но это не говорит, что те, кто эти мысли измыслил, вечно были мертвецы. Мысли умирали от двоящихся взглядов, когда их повторяли вслух. И их бледный владетель все шурушал черепами в картоне, тянул их за нижние челюсти, заставляя распахивать рты, и тогда вылетали мертвые летучие мыши – мыслей мертвые души. Остов был сказочно богат этой черной монетой, и не успела его дочь появиться на свет, как уже один Продвинутый Студент добыл из архива и пустил по рукам письмо Фихте к возлюбленной им Софье. В письме стояло:

*Ты моя Софья, София ты моя премудрая! Люблю я Софью, тебя, Премудрую. Любя Премудрость, Софию люблю, и любомудрствуя, тобою только, Софья, философствую, я – философ софиоуфиленный!*

Так вот, этот Продвинутый Студент подразумевал не Фихтину сосновую невесту, полено, а Софью Павловну Остову, откуда и пошла сплетня про Лану-закладку.

Вся кафедра хохотала: Девочка-инкунабула!

В свете подобного слуха уместен нижеследующий манерный диалог.

## Пролог

– *Поведай нам повесть о никогда не бывших.*

– *Я расскажу вам о Великой Любви Ланы и Тарбагатая.*

- Что ж, скажи нам об этом.*
- Как могу я повествовать о том, чего не было?*
- А когда это было?*
- Начало было положено, когда перестали появляться новые души.*
- Из чего ты это заключаешь?*
- Я иду от изобилия тонких образов.*
- Неужто такое может стать известным?*
- Неизвестно, однако я вижу.*
- Так расскажи нам о неизвестном, небывшем.*
- Я уже рассказал.*

## почему суждено

Основательнейший из наших историков пытается объяснить непомерное распространение отечественной державы по плоскости при помощи нижеследующего рассуждения.

Длинные пути сообщения, долгота дорог и отдаленность многих мест – говорит наш историк – вели к тому, что веления власти высшей приводились в действие не во-время. Высочайшая ведь власть, озабоченная лишь совершенным устройством вещей, изобретала для этой цели всевозможные полезные уставы. Но по мере того, как ее благодетельные уложения продвигались туда, где их надлежало бы целесообразно прилагать, они не успевали обнаружить там ничего того, ради чего были намечаемы: население, уstraшенное неуставными привычками ближайших начальствующих, в омерзении и ужасе с обозначенных мест разбегалось. Новые же уставы заставляли в точке употребления одно лишь здешнее правительство, и верховные порывы становились без плода.

Однако и местная власть сама собой под лежащий камень водою не текла, но изливалась туда же, куда исчезал простейший народ – и вот так-то и росла, росла наша держава, а вечно возобновляющиеся волны справедливых законоуложений все устремлялись, катились вдаль, почти не задевая редееющего в полупустынях начальства, но пропуская себя как-бы сквозь него.

Конец этому буколическому течению истории положил телеграф. До той поры извещения о местных безобразиях, которые, собственно, и приводили в действие описанный центробежный механизм, шли по назначению через прямое посредство человеческого лица. Донос нужно было «донести». Отсюда то героическое, что в нем сохранилось даже донныне. Шутка ли – всплески народного разбега успели перехлестнуть пролив Беринга, Амур и Аму-Дарью, уйти в Персию и за Кавказ, смешаться с вепсами и айнами, со жмудью и с чудью, с ойротами, бурятами, кетами, якутами, алеутами и застынуть на оледенелых валунах меж луораветланов и нганасан. Какой верой в силу истины нужно обладать, чтобы проделывать столь длинные пути одной только прады ради!

И вот, новый вид связи все свел на нет. И тонкий идеализм высших начал, и патриархальную простоту местных положений и самоотверженную отвагу искателей истины. Их героизм потерял всякую цену, когда преследующая администрация однажды приволокла к последним естественным рубежам столбы с проволоками и остановилась рядом. Теперь правительство получило способ все узнавать мгновенно, а смысл жизни из опосредствованного доносительства перешел в область прямого стука.

Ключ, выколачивающий эти длинные и краткие знаки мерзкой азбуки Морзе, телеграфическое, в полном смысле слова «дальнопишущее» орудие труда – этот самый ключ стал подлинным приводным ремнем к мотору истории.

Как это часто бывает, изобретенный орган поначалу служил отжившим целям: стучали на местную власть. Но уже очень скоро всем стало видно, какая сила в нем таится. И только на самом верху пирамиды не сообразили, чего наделали, а когда очнулись, было поздно: по всей стране шел оглушительный стук. Со всех сторон приходили прерывистые заикающиеся извещения о неустройстве, нестроении и о всякой неправде. Попробовали издать два-три теперь уже сверхразумных эдикта, но куда там, от этого только громче затарахтело. Судороги отчаянья охватили правительство. Держава сама собой перешла в руки телеграфистам.

Вот поэтому, хоть Лане и суждено было увидеть свет в столице, а Тарбагатаю в дальней глуши, сердца их могли биться совсем рядом. Случилось же это через шесть-семь десятилетий после того, как всем овладели секретари, незадолго до будущего переворота.

Покуда же словно опутанная известиями, сообщениями, разоблачениями, донесеньями, доведеньями до сведения, рапортами с мест и отчетами об имевшем место, валялась младенец-Лана в детской кроватке из бука и била себя по голове погремушкой.

Это Архит Тарентский ее изобрел.

## *Погремушка*

*Архит, пифагореец и математик, был в Таренте выбран в тираны.*

*Входит Архит прямо в Тарент –  
Белые руки за пазухой  
А вместо лица у него пергамент  
С неурожаем и засухой*

*Мрачный значит вид, имеет. Тарентинцы его спрашивают.*

*Сограждане – отвечает Архит  
Друг в друга слова сливая –  
Как некогда Гераклит  
Приберегу слова я*

*Изумленные его молчанием тарентинцы вновь приста-  
ют к нему с теми же пустыми вопросами. И что же они слы-  
шат!/?*

*Хотя бы наставник мой Пифагор  
Высокая терапия  
С рогатых гор андрогин мандрагор  
Настои химии пия*

*У тарентинцев глаза на лоб полезли, челюсть отвисла, а  
тиран не унимается:*

*И если право и пуст и прост.  
Чреват словно дождик тучкой  
Принес ваших дочек под хвост Прокруст.  
Под куст – вот с этой штучкой!*

*И он показал тарентинцам погремушку.*

*Гражданам, когда они увидели у правящего философа  
такую глупость, стало нехорошо. Но куда им было деваться?  
На всех узловых точках уже стояли архитовы люди с готовы-  
ми погремушками, которые с тех пор широко распространи-  
лись.*

*Вот из них-то одна и висела у Ланы: отец полагал, что  
так отгоняют злых духов. Кроме того в кровати рядом лежал  
медведь.*

## два слова о сестрах

Я как будто уже говорил, что из всех теорий души мне по душе более всего та, которая утверждает, что душа это хромосома, окрашенное тело. Сейчас я напоминаю о ней в связи с медведем. Зачем, собственно, валялось в постели рядом с девушкой-младенцем существо, хромосомы которого нам чужды?

Мой друг Авель полагает, что тут дело в педагогике: ребенку показывают медведя, козу, красный гремучий шарик. Последний предмет – философский, тарентинский – заставляет малое дитя призадуматься:

– А что это там стучит?

– Девицы, что за стук я слышу?

Другие звери приучают к логическим рассуждениям в духе классификаций из букваря: «Это коза. А это – медведь. Что это – коза или медведь? Это и медведь, и коза. Нельзя быть козой и медведем».

Не думаю, чтобы Авель был прав. Виды, в которых существа могут оказаться на общем ложе, нельзя считать строго познавательными. Не верю, что в миги первых восторгов в голове нашей белокурой невесты пронеслось: «Это медведь. Это не медведь. Экой медведь!»

Так пусть судят о том, кто умнее меня, мы же вернемся к хромосоме.

Хромосома это разноцветная нить. Длиною она в рост человека, а толщины исчезающе малой. Свернутые в мотки, нити приобретают внешность гусеничного червя невидимого размера, и человеку принадлежат двадцать два таких червя, да еще по штуке отдельных, от иных отличных, для кавалеров и для дам по особому моточку.

Одна любовь может заставить эти мотки развернуться и

обнажить свою длину. Тогда, всем естественном сплетаясь друг с другом, они принимаются страстно обменивать между собой обрывки, куски и части, пока не потеряют самого подобия или намека на мысль о прежнем себе. Обновленная этими взаимопронизывающими перемещениями хромосома будет действовать в качестве души потомка. Нужно только, чтобы обе были человеческие.

И вот, несмотря на нежность, на почти совершенную бестелесность, хотя они уязвимы и беззащитны, но в те миги, когда они любят, любят беззаветно и всей своей тончайшей сутью, когда они сливаются и переплетаются частыми узлами, страстно разрывают взаимные петли, отнимают и возвращают иному «себе» части бывшего «я» – именно тогда обнаруживается их небесный нравственный характер – железный, алмазный, поистине сидерический. Ни волк, ни коза, ни медведь, ни конь и ни петух никого из них не обманет. Звездная мораль цветного тела повелевает ему погибнуть в объятьях другого, но не изменить себе: любовь радужной нити не выведет на свет Божий химеру. Ее браки заключены на небесах. Хромосома любит или гибнет, но не лжет никогда. За нею последнее слово, которое изрекает ее сотворивший жестокий прозрачный разум.

Жаль, что мы не всегда умеем узнать о решении хромосомы заблаговременно. Внешний вид бывает обманчив, на инстинкты не стоит полагаться. Моряки заблуждаются относительно «морских женщин», принимая за них кто Стеллерову корову, а кто родню моржа. Коровы с тех пор исчезли, а моржи бдительно охраняют своих самок, но можно ли во всех случаях жизни поручиться за истосковавшегося путешественника?

Так неужели только длительный опыт живой любви может надежно убедить нас и рассеять сомнения насчет природы той или того, кто пребывал с нами в тесный миг помрачающей страсти? – спрашивает мой друг Авель.

Он пытается ответить:

Я думаю, что пристальное внимание к генеалогиям позволило бы соблюсти необходимые предосторожности в этом тупике. Горожанам, разумеется, не грозит прямая опасность, но жители горные, сельские, болотные, речные, лесные и полевые пусть смотрят в оба! Ибо тут кроется еще одна опасность, едва ли не страшнейшая: если мы кому-то откажем в любви, то тем самым позволим себе жить за счет питания его мясом. Лекарство не вышло бы хуже болезни!

Чтобы формула Авеля звучала чуть менее туманно, я поясню ее следующим частным примером. Что лучше, или вернее что хуже – съесть сестру или переспать с козой?

Вопрос очевидно оскорбительный. Я слышу иронические вопли, издевательские возгласы, звуки протеста:

- Кто говорил о сестре? При чем тут сестра?
- Наверное сестра медицинская...
- Они набиты наркотиками!
- Торчат на траве. Как все травоядные.
- Коровы в особенности, они жуют и торчат.
- Посмотрите, какие у них глаза!
- Какие губы!
- Ленивцы без этого дня прожить не в состоянии.
- А коз, вообще, едят? Едят ведь трупы коз...
- Да люди жрут друг друга на каждом шагу!
- А сестру он подразумевает античную: «у вашей козы есть сестра»... Значит ваша сестра – кто?
- Кузина, разумеется...
- А случалась ли ему бывать в казино?
- А знает ли оно о свойствах казеина?
- А по какой okazji была битва при Азенкуре?...

Читатели-киргизы! Прекратите ваше оглушительное козлодранье! Послушайте неженку-хромосому: так – меньше одной душой, этак – меньше одной сестрой. Простейшее решение. Поэтому успокойтесь. Теперь предположите, что вы этого

не слышали. Далее. Вы не джайн, который может прожить, не причиняя особого вреда ничему живому, и не тощаящий вегетарианец. Оглянитесь вокруг глазами человека, который никогда прежде козы не видал.

... Вы проделали долгий утомительный путь в одиночестве, умираете с голоду, оказались в пустынном месте...

Вдруг встречаете ... козу ...?

– А откуда вы знаете, что «козу», а не, скажем, «женшину из кочевого неизвестного племени»?... Как ... «подоить»?! Вопрос стоит совершенно серьезно. Забудьте накопленную тысячелетиями блажь, пакостные журнальчики, советы кухарке. Не городите чепухи.

– Обломать рога!...

– Из-за необычайного головного убора? Напасть с рогами на женщину!

– С бородой...

– А бабушка ваша – не бородатая?

– Волосатая...

– Ах, знаете, –

– Голая ходит!

– Если «голая ходит» и это всё, пойдите поищите в земле съедобных кореньев. Животная пища вам не по зубам.

– Разговаривать не умеет...

– Разговаривать. А с кем ей, собственно, разговаривать?

С голодным голодранцем, который тут неизвестно зачем шляется в каменистых делях, и только одно у него на уме: как бы умыкнуть честную бородатую девушку в обуви, удобной для скаканья по скалам, да в национальной рогатой шапке.

А вот пример противоположного заблуждения.

В полном одиночестве вы проделали долгий изнурительный путь по совершенно пустынной местности. И вдруг в самом конце дороги наблюдаете какое-то подозрительное движение между редкой листвою куста. Вы приближаетесь.

Ужасное зрелище! Основатель Венской школы с самыми недвусмысленными намерениями напал на первого романиста Земли Московской. Тот вяло отмахивается. Мираж. Оба медленно растворяются в легкой дымке. Их больше нет. Из легкой дымки возникает Она, прекрасная, в полупрозрачном одеянии, с призывным взглядом золотистых глаз – настоящая Астарта Рогоносная. Что же – вы? Сразу и руки вперед? Опять за старое? Ничего не забыли и ничему не научились?

– Да что вы тычетесь в нее как слепой утконос?!

– Лопочет не по-нашему...

– Вот именно. Поройтесь в словарях, переведите чего она вам там набляела.

– И стоит на четвереньках.

– А что ноги в копытах – это как? Ничего?

– И легкий пух ее ланит...

– Так что же вы давеча врали, что бородатая?

– В обоих случаях это была коза.

В обоих случаях вы Буриданов Осел. Вы подохнете с голоду, вы лишитесь рассудка от нечистых страстей – и поделом вам, а заодно и мне, ибо, вот, мечу бисер и раздаю псам.

Откуда же явились к нам эти псы, ослы, свиньи, собаки? Почему животные не образуют с нами единого влюбленного сообщества, а служат для издевательской брани? Ведь у всех у нас был общий предок, похожий на среднюю крысу.

## Тост Остова

Вот собрались гости у Остовых.

– Покажите нам девочку-инкунабулу!

– Прошу садиться выпить чаю.

– Мы принесли вам утку и зайца.

А дело было к Рождеству и в углу стояла елка. Кронид

Евлогиевич взял в руки подарки и пошел к дереву.

О какая смолистая мгла явилась ему меж ветвями! Он взялся за ствол, поставил ногу на нижнюю ветвь. Ель оказалась высокой. Вот и листья ее вверху расцвели, вот и желуди золоченые. Змея, обвивая корень, внизу зашипела. Голубая рыба из пасти ее ускользнула и прыгнула в струи. Узкой серебряной речкой потекли понемногу и мед, и вино, молоко и вода. Остов же множество ног на третью ветвь перекинул. Змея у корня снова в реку улеглась. Раскрылись, белея, миндальные чаши весны. Поскакали кабарги и косули, бобры. Тут пустил он в гущу дерева зайца. Ворон закаркал на самой вершине, утка тотчас выскочила из рук, крикнула, извернулась всем телом, крикнула и нырнула, была такова.

– Ах, наше будущее, о наше прошлое, жизнь и смерть, – приговаривали гости.

В белом дыму весенних яблонь вошла и вышла Софья Павловна, лицом полыхая как спелая вишня.

– Ей все как с гуся вода, – пробулькала утка в ведре с елкой.

– Выньте на сушу неосторожное животное.

А Остову открывались с вершины совсем иные виды. Хорош, высок тот был еловый стоерос, дубина! Не зря исчезли в нем и утка плоская и вслед мореный заяц, не зря змея в корнях его шипела и на вершине ворон токовал! А там, где верхнюю маковкой ствол распускался сучьями в корень, там ныне волосатая лысина Остова воссияла, словно сладчайший каштановый фрукт. И вот что несла оттуда эта засахаренная ягода.

– Нездешним возвышенным медом текут к вам речи моей медовые реки. Медведем ведомые мыслей моих медоносные пчелы стелепали себе на дубе том улей аляповатый. Что же вы, гости мои, думаете – торт, лесное полено, торф в сиропе – так уже и губки сложили причмокнуть?

Софья Павловна густо покраснела в ответ на эту глумливую выходку. А заяц в пурпуре тут же поддакнул, да синяя утка, та тоже из чрева дерева внезапный голос антифоном подала:

– Не будь, о шея селезня моего, краснее ты переливчатой радуги, прокрякала бы я будущее свое с первым встречным ракообразным!

Выручил Софью Павловну Продвинутый Студент.

– Слезай, Кронид Евлогиевич, слезайте с елки!

– Унесите эту девочку-инкунабулу!

– Тост, скажите тост, профессор!

– Я – говорил он – поднимаю этот фиал за то, чтобы жизнь продолжалась!

И тихо-тихо стало за столом.

– Рождается ли девочка-дитя и будущая мать, отец ли ласковый ее покинуть бранный свет стремится, но жизнь сама от этого не прекращается никак.

Словно перламутровый червь, обитатель трухлявого пня, который догрызши стены своей древесной темницы до самого света Божия, теперь одевается во внешний скелет усатого жука-древоточца и лишь затем выволакивает под голубые небеса, в смолистые запахи леса свою ожесточенную крылатую покрывку,

словно ихневмон, проедающий бок крокодилу, когда тот слотнет его по алчному обыкновению неосторожного хищника, и вот, является из мокрого нутра опустошенного панцыря речного гада гибкая мохнатая тварь с окровавленной мордой,

подобно, наконец, насекомым из черепа дохлого льва, как нам повествует о том Священная Книга Судей,

подобно, значит, пчеле, фараоновой мыши и скрипучему дрянному жуку, вот так одно поколение сменяет другое, прозрачно отождествляемое мною с гнилым пнем, недальновидным ящером и разложившимся трупом царя зверей.

Итак я поднимаю этот стакан вина за его жизнь, расцвет, процветание и за нашу скорейшую гибель!

## ТРОНОС

Кафедра, главой которой был Остов, с известной стороны показалась бы самым обыкновенным паукарием, когда бы не следующие дела предыстории.

После недавней этой «дохлой» революции власти хотели вообще филоофию отменить. Слишком было у нее дурное лицо при прежних порядках. Молодые люди (молодежь всегда увлекается) запели хором переиначенные французские стишки:

Последний дух философ испускает  
Кишкой последней стукача удушен

и отправились громить факультеты. Однако музыки не получилось. Стукачи улизнули в космос, а со стороны философской кандидатов оказалось значительно больше, чем можно было совершить экзекуций. Да и вид мыслителей едва не до слез разжалобил юношей: от потрясения вся их диалектика выступила наружу в виде черных и белых полос. Печальное зрелище являли собой эти разоблачившиеся обманщики. Иной почтенный старец – весь в благородных седилах, на лице выражение значительного глубокомыслия – и вдруг точно официальный общественный черт, полосатый, просто какой-то шут гороховый. Новая власть всем своим естеством ощущала неловкость. Летучие молодежные отряды были распущены, но много еще чего перепробовали с философами в те первые горя-

чие годы.

Велели им охранять границу: через каждые пятьдесят метров – лоснящийся диалектик. Но опять ничего из этого не вышло. Быстро, за шесть суток, они обучили языку товарищей с той стороны, а затем усыпили их вздорным доктринерством, сделав ненужным и свое новое поприще.

Испытывали их еще в качестве дорожных знаков на манер античных миль и для шлагбаумов. Однако и тут дело не двинулось. Живые шлагбаумы заговаривали с водителями, столбы и указатели морочили всем подряд головы неуместными рассказами, декламациями, какими-то устными мемуарами: «Мои встречи с генералом Качеевым» или «О личных качествах лейтенантов Тамского и Кудатова». А то сойдутся «Резкий Поворот», «Песок» и «Дорожные Работы», сойдутся и затеют дискуссию, скучную, вечную, как эти самые дорожные работы.

Короче говоря, ни к чему полезному оказались они непригодны, и даже опасны, что выяснилось после того, как грандиозным скандалом закончился один действительно остроумный и широко задуманный социальный эксперимент. Философов выдали передовым живописцам в качестве строительного материала для одушевленных монументов. Это была страшная месть. Артистический мир еще далеко не забыл, кто подло попирал его древние свободы, и вот теперь, когда настал возмездья час, богема собралась на великий совет, дабы ничего не упустить из открывшейся ныне неповторимой возможности. Стали произносить речи, читать стихи, развивать идейную сторону вопроса. Мнения скоро разделились и измельчали. Основных, впрочем, осталось два. Странники первого держались убеждения, что материал должен как можно больше двигаться, меняться, возникать, исчезать, пластически воплощаться и подвергаться преобразующему воздействию активно мыслящего и чувствующего творческого гения. Этому креационист-

скому взгляду противостояли своеобразные квиетисты и абсентисты от художества, уверявшие, что материал нужно как можно реже и меньше трогать, а там «форма сама во что-нибудь выльется». Креационисты потерпели решительное поражение, когда в прах разбились их усилия что-то изменить в наружности своих жертв. Полосы светились сквозь любые пигменты словно икс-лучи. Тогда несчастных принялись гонять по кругу в надежде получить какую-то особую интерференцию, но не все даже из числа сторонников активного подхода поддержали подобную ограниченную идею оп-арта. Им стали мешать, хватать за руки собственные единомышленники. Это вызвало протесты со стороны партии созерцателей:

– Бегут – пусть бегут, форма сама во что-нибудь выльется! – снова и снова выкрикивали они лозунг школы.

Дело понемногу шло к рукопашной. Кто-то из демиургов мазнул представителя вялых кистью с краской, тот дабы не отступить от убеждений ухватился прямо за ведро. Положение становилось угрожающим: уже и живой материал, чуя близкую смуту, принялся что-то такое непонятное вдруг бубнить.

Чтобы пресечь богемный бунт в самом зародыше, режиму пришлось пойти на крайнюю меру: послать войска. Наварили варева из съедобных бобовых, главным образом из чечевицы, и отправили с полевой кухней в котлах на поле брани, навстречу бушующим вольным дарованиям.

Отдадим должное командиру, капитану Гдеичу. Он не стал попусту разговоры разговаривать: права, справедливость, живая очередь. Он велел лить похлебку прямо на утопанный грунт, в грязь, себе под ноги. Художники, едва учуяв знакомый по Библии запах, толпой бросаются навстречу. Проходит лишь несколько мгновений, и весь артистический мир лежит ничком. Так было прекращено восстание.

И вот тут, пользуясь замешательством, над полем, уст-

ланным трепещущими телами живописцев, и сам весь окутанный парами бобового варева выступает вперед умнейший из философов и говорит примерно нижеследующее.

– Родные мои братья по разуму! Как низко пало наше древнее достоинство! Так низко, что даже подумать скорбно. Некогда одно имя философа приводило в почтительный трепет деспота или тирана, заграждало уста лживым пророкам, внушало суеверное уважение толпе. Мы имели преимущественное право на мысль. Никакие житейские дуновения не дерзали осквернить своим воздухом наших софийных ветрил. Ничто не могло поставить в тупик мыслителя, загнать его в угол, везде был у него запасной выход. А сейчас? Былой собеседник короля – игрушка в руках жалкого артизана. Вольные из вольных, свободнее самой свободы, сделались мы рабами рабов и подонков! Отбросы общества помыкают былыми его столпами словно штaketником! Мы стали серыми и невзрачными, если не хуже: уподобившись неталантливым хамелеонам, не можем принять даже цвета окрестных обстоятельств, чтобы исчезнуть на их фоне и как-бы раствориться. «Полосы не дают» – возразит мне, я слышу, любой из вас. Но почему обыденная масть, которая покровительствует иной неразумной твари, вдруг стала в нашем случае предательской и отпугивающей? Отчего не такова она для скунса, для панды или окапи? Я снова слышу голоса, слышу как обвиняют предрассудок правящей черни. Но неужто не развеет его обитающий в нас светлый стихийный Логос? Разве нельзя обратить малый этот вред в великое благо? Вот был бы исход, поистине достойный того славного имени, которое мы себе присвоили, дерзко назвавшись «влюбленными в мудрость»! Так давайте оставим жалкое пресмыкательство перед силами событий, прекратим трусливо подражать природе – пусть лучше она подражает нам, а мы поможем ей добиться своего всей мощью кованого рассудка!

– О том, что в жарких странах Африки – продолжал Ос-

тов, а это был он – водится полосатая лошадь, знают все, знают даже нынешние наши калифы от живописи. Однако, как и во многом другом, так и в этом предмете ведение их касается лишь самой поверхности вещей. Знатоки всего, что относится до внешних видов, одну подробность они проглядели сквозь пальцы. Думают: если уж зебра, так непременно полосатая, «не переменит полосатая полос своих», Иеремия, глава и стих не важно какие. Но слова вдохновенного верны лишь применительно к зебре, да и то не ко всякой зебре. Если же мы порвём фатальный круг животной шкуры и вернемся к нашему случаю, то заметим, что человеку как раз свойственно менять окраску: от стыда краснеть, белеть от ужаса и бледнеть от гнева, зеленеть от омерзенья, синеть от мороза. Человек может даже пожелтеть например от разочарования или стать фиолетовым от каких-то совсем особых движений души. Известно, что негры рождаются с белоснежной атласною кожей и лишь по прошествии времени становятся такими, какими мы привыкли их видеть. А у людей нашей северной расы то же самое красящее вещество хранится в частицах кожного покрова, будучи незримо и скрыто. И лишь у нас, у философов, у кого постоянно упражняемая силой мысли душа дотянулась щупальцами до тончайших нервических окончаний в наружной дерме – ... вот мы, к несчастью, когда-то чернеем, а где-то белеем, друзья мои... Но нет причин отчаиваться. Не все безнадежно и с зеброй.

Тем временем солдаты, кашевары, похоронная команда, оставшиеся в невредимых артисты и власти, во главе с капитаном Глеичем, присоединились к аудитории. Всем хотелось послушать про зебру.

Остов возвысил голос:

– С зеброй далеко не так просто!

– Где, где? – переспросил капитан Глеич.

– В Африке, капитан – ответил Остов.

– Продолжайте, профессор – сказал Глеич.  
– Существует семь видов зебры...  
– Отлично! – рявкнул Глеич. – Дайте людям имена животного!

– Греви и Гранта, мой капитан. Капская горная, Гартмана и Чапмена, далее Бурчела и, наконец...

Поднимая тяжелые рыжие брызги и пыль, прискакал вестовой из штаба отзывать силы порядка. Нехотя снималась с места пехота – младшие офицеры, сержанты, за ними, все оборачиваясь на Остова, ушли солдатики, потянулись санитары и врачи, кухня, орлы из похоронной. Понуро удалились и посрамленные живописцы. Философы остались наедине с собой.

– Подобно тому как семи планетам у древних находят соответствие семь добродетелей и семь смертных грехов – говорил Кронид Евлогиевич – каждому из семи видов зебры свойственна особая система цвета и область окраски. Возьмем зебру Греви. Это высокий стройный конь в ярких узких и частых черных и белых ремнях. Куда менее изящна зебра Гранта – коренастая лошадь с квадратным телом. Соответственно и полосы ее шире. У Чапмена они широки уже настолько, что способны пропустить между черными зонами основного рисунка мутные темносерые пятна, бегущие посередине белых. У Гартмана – совершенно белые ноги и уши длинные как у мула; а у Бурчела белым оказывается лунное брюхо, тогда как полосы чепраком свисают с хребта; репица Капской напоминает шахматную доску. Но нет замечательнее седьмого, последнего вида зебры, которая вообще без полос. Это квагга.

Тут Остов стал подбираться к сердцевинной сути смысла.

– Словно суббота между Днями Творения, хотя ничего в этот день сотворено и не было, считается Днем Седьмым, квагга, не имея полос – зебра! Вот как обстоит дело с расцветкой зебр, и если нам удастся на простом примере убедить вер-

хи, что отсутствие полос есть лишь специфический и частный модус их присутствия, вроде, скажем, числа «ноль» в математике, это сильно поправит наши дела. Общество по крайней мере оставит нас в покое. Все теперь за кваггой.

Как он говорил, так и вышло. Капитан Глеич успел уже доложить, что живописцы сыты, накормлены, а философы рассказывают населению про Африку. Поэтому предложение послать экспедицию за редкостной вымирающей зеброй не было неожиданностью. Отправились трое, а прочих пустили пасть за старые кафедры.

Единственно, власти поинтересовались предметом их будущих занятий. Пожелали его узнать.

– Философия! – звонко сказали философы, беря мигмом прежний пышный тон.

– Знаем, что философия – сурово возразили власти. – А вот о чем *теперь* будет эта философия?

– О мироздании... О космосе...

– Ах, о космосе... – и прикомандировали к каждой кафедре по космонавту, чтобы философов не больно-то заносило и чтобы всяких глупостей про мироздание они впредь не изобретали. Но те и без того сидели у своих мест тихонько, как мыши.

Конкретные специалисты по космосу как правило не обращали на них ни малейшего внимания, и лишь космонавт Сытин, приставленный к той самой кафедре, где оказался и Остов, был занятным исключением.

Через несколько лет услышали, как Сытин спрашивает:

– Известно ли вам что-нибудь, Кронид Евлогиевич, о судьбе искателей квагги?

– Мне ничего не известно – отвечал Остов.

## за кваггой

Итак, мало кто из бывлых гонимых думал о тех, кто ушел за кваггой. К числу немногих принадлежал Иван Иванович Доржиев. Имя и отчество Ивана Ивановича никого не должны вводить в заблуждение: его звали Онг Удержки и происходил он из старинного рода, который имел дело с погодой. Уже дед Онга это оставил, а сыну внушил отправить внука в западные училища. Так Онг Удержки постепенно сделался кандидатом Доржиевым в городе на величайшей из рек Сибири, а от искусства предков унаследовал только пару драконов на китайском халате. Достигнув поздней зрелости, он полюбил сидеть, облачив себя изгибами радужных туловищ с шелковыми плавниками. Одним из помыслов, которые увлекали его в такие мгновения, стала судьба полосатых людей, исчезнувших в поисках за прозрачную зеброй. Мысль Онга упорно ползла за ними, словно ручная змея.

С приземлением в столице Капской колонии все обошлось. Администрация просто вышибла прибывших подброду, чтобы скорее убирались в глушь и не будили нечистых страстей.

– Звери какие-то, четвертичные приматы – подумали участники и тронулись с места.

Седой как полярный сыч негр-привратник летного поля посмотрел им вслед и заухал чуть слышно, чтобы не разбудить начальство:

Хоть шкура и черна-то  
Да не со шкурой жить...

Доржиев потерял их из виду.

С недавних пор в его цементной фанзе стал появляться

отрок, дальний родственник, сирота. Молчаливый, он не мешал полетам потомка заклинателей инея. Когда тускнели далекие картины, глаза Доржиева поворачивались к прищельцу. Драконы опускали головы, иньские чешуи разглаживались. Тарбагатай слушал шуршащее пенье змеи огромной реки, шорох прибрежной пены, редкие всплески.

Искатели проделали дневной путь. Они остановились на невысоком холме в маленькой сухой впадине возле извилистого ручья. Деревья с плоскими вершинами отбрасывали вечерние тени на склонах. Там они и разбили убогое походное жилище.

Уже под утро, в тот час, когда безлунная ночь особенно черна, тяжкий вздох огласил мглу палатки.

– Кто это? Что это? – прошептал один из спящих.

Нелепое пыхтенье было ему ответом. Он потянулся к одежде у изголовья, ощутил теплый воздух, отдернул в ужасе руки и опять пополз вперед, но тут почувствовал под ладонью что-то живое, твердое, гладкое, неровное, похожее на огромный нечеловеческий ноготь.

– Квагга! – заорал спящий не своим голосом.

– Квагга! – вопль наполнил полотняный шатер.

– Квагга, квагга – покатилося по сухой степи, и до жабьих болот за Оранжевой рекой докатилось: – Квагга!

– Квагга! – откликнулась эхом стена лесов на севере.

– Квагга – квакнули драконьи головы на рукавах Доржиева.

– Где квагга? – спрашивали другие спящие, хватая впотьмах что попало.

Один наткнулся на круглый бок, другой на оскаленную морду. Здоровенные зубы чуть не отхватили ему пол-руки. Первый философ хотел удержать пойманное копыто, но тут же последовал удар по пальцам от одной из свободных ног ночного гостя. Укушенный натягивал рубаху на голову добычи,

третий обнимал бок снизу, пытаясь сомкнуть на спине пальцы с пальцами, чтобы никогда уже не выпустить из объятий желанное существо. Наконец невидимая тварь выскочила задом из-под тканей, проволокла на себе последнего ловца, стряхнула его судорожным движением тела, нечаянно пнула, брыкнула, лягнула и исчезла, оставшись столь же загадочной, сколь и была, когда появилась.

Преследовать было безумием. В неверных сумерках рассвета нашли только разлитую воду, да что-то прилипло к рукам. Вся земля вокруг была истоптана следами копыт, помельше, чем ноги онагра. Светало.

Доржиев сделал несколько крепких глотков отменной лесной заварки и вновь погрузился в созерцание.

Солнце раннего утра осветило философов, покидавших злополучный лагерь. Легкая стайка людей-гиен, которых привлекли ночные вопли и запах свежей крови, двинулась следом. Старались держаться в отдалении, оставаясь незамеченными. Скакали от тени к тени короткими перебежками. Прятались за деревья, за выступы скал, за отдельные камни. Подавали друг другу неясные знаки: «ко мне», «вперед», «ложись». Шли бесшумно, след в след, ползли ползком на брюхе, падали в травянистые выемки мордами вниз, прижавши уши, или вскакивали с коротким внезапным хохотом, задрав голову к небу, эти люди-гиены. Останавливались только чтобы задавить мышь, лизнуть дикого меда да подобрать брошенное яйцо струфокамила.

### *Кто это был*

*Полосатые люди известны с глубокой древности. Лукиан Самосатский сообщает нам о чернобелом эфиопе, который был представлен ко двору Птолемея Эвергета вместе с трехгорбым верблюдом и парой индийских фениксов.*

*Царь не нашел в учении этого софиста ничего особенного и вскоре о нем забыл. Верблюды же издох без присмотра.*

*Полосатые лошади выступили на историческую сцену позднее, в эпоху Антонинов. Мир науки долго колебался, причислить их к роду *Equus*, то есть собственно к лошадям или к роду *Asinus* то есть к ослам. Одно время зебр выделяли в отдельный род *Hippotigris*. Памятником этому заблуждению осталась публикуемая здесь поэма о событиях, непосредственно предшествовавших знаменитому эдикту Каракаллы от 212 г.н.э. с реформой принципов римского гражданства.*

*Сейчас зебр, лошадей и ослов зачисляют в один и тот же род.*

О том как в 211-ом году н.э.  
Каракалла с гиппотигридой сразился

Кесарь Каракалла огромной державой  
правил. От Тахо с Гвадалквивиром до горла Дуная  
и от низовий Рейна до плоской вершины безводного Сирта  
простиралась мера владений его обладаний:  
сумеречное пространство, в котором он чувствовал себя как  
дома,  
им всеми силами своей души обладая.

Наедине с собою Август Каракалла –  
этот благочестивейший Пий из династии Антонинов,  
расцветая мыслью мака пышней и острее стрекала,  
задумывался о судьбах, судил о делах, уповал о деяниях  
предков – и древних, и не таких старинных,  
к нему ближайших, ближних, близких, дорогих, родных и  
прочих дражайших.

Между тем в Империи царило неравенство:  
Сумрачное беспокойство терзало державу:  
глубокие противоречия между бессодержательной и пустой  
официальностью  
и живым течением жизни, о чем знает каждый,  
стали для многих суждений специальностью  
и отравляли патриотическую любовь к мать-мачехе-отчизне-  
сестре-мамаше.

И во всей стране не было ни единого скифа,  
и нигде не нашлось бы ни одного эфиопа,  
который бы не кивал от кинокефаловых судьбищ:  
«ни эфиопа – ни скифа, ни скифа – ни эфиопа»,  
а Африка все слала туда своих чудищ,  
которым как прежде дивилась Европа.

Самоуглубленнейший из Аврелиев, восседая на троне предков,  
окруженный юристами из числа жестоких, но справедливых  
законоведов  
и хладнокровнейшими военачальниками, собаку съевшими на  
переговорах о мире,  
рассуждал Каракалла об имеющихся несовершенствах,  
сам с собой, наедине с собой пронизательно рассуждая –  
воображая себя на месте угнетенных неполноправных.

Сочувственное течение мысли его  
внезапно было прервано появлением  
вестника, который было вначале не сказал ничего,  
выжидая удобной минуты, чтобы вставить лишнее словечко,  
но под конец побуждаем высоким веленьем,  
принес ему весть, произнес ему весть  
такую весть, что ни встать, ни сесть.

От вести той ни склониться, ни пасть, ни взмыть-воспарить,  
ни лечь пресмыкаться от такого известия – вот это новость! –  
вестник разинул пасть и сказал примерно нижеследующее:  
– О Кесарь, О Август, О Аврелий-Антонин, Император, О!  
В Остии только что бросил якорь корабль из Африки.  
Не буду называть всего, чего на борту у него,  
укажу лишь на немного, достойное изумленного упоминания.

Этот прекраснейший корабль, стоящий у входа в гавань столицы,  
населяют редкие звери и удивительные птицы:  
симумы, сирины, аргусы, фениксы и тавасы с хвостами,  
усыпанными голубыми очами,  
лысые акилеонты с клювом зубастым и острым,  
ибисы с искривленным носом, развратным и милым –  
которые таким образом знают о себе всю правду –  
и пышные как пена струфокамыли.

Грифоны, марабуты, птицы, понимающие язык нубийцев,  
с виду невзрачные, но наделенные разумом перипатетика,  
а также некоторые другие говорящие птицы, бродячие птицы,  
вонючие птахи и даже благоуханные пернатые –  
те, которые кормят нектаром своих престарелых родителей –  
все они наполняют собою этот корабль, все они каркают,  
грают, галдят,  
восседают рея на мачтах,  
часто пятная и снасти и скатанный парус.

Над вороньим гнездом того корабля  
висит Зодиак, ввысь хвосты окрыленные для,  
как серебряный блик утонувшей монеты  
сверкает над ним Афродита планеты  
Венеры – она словно светоч звездой  
синевы озаряет утром вечер седой.

А на палубе вдоль бортов  
бродят стада рогатых ослов,  
единорогов одинокие группы –  
даже с берега видны их гривы и крупы –  
ихневмоны кружат промежду ног у камелопардов  
и дромадеров, которых мохнатые лишь одни горбы выдают их  
бактрийское происхождение.

Какая прекрасная мирная картина!  
Император благосклонно выслушал вестника  
и молвил ему снисходительно: Продолжай. Тот продолжал.  
– Не скрою от тебя, о Первый из Римских Граждан,  
что трюм суденышка доверху набит чудовищами,  
плодами вымысла, сущими монстрами,  
страшно даже заглянуть в его темные недра.

Так страшно хотя бы подумать об этом, что боязно даже  
вымолвить,  
поэтому я еще скажу пару слов об имеющихся  
человекообразных,  
и лишь затем мы последуем в нижние помещения.  
Итак, из лесных людей назову рыжих хвостатых и  
рукохвостых,  
далее бесхвостых четвероруких собакоголовых и  
пурпурноалых мозолезадных...  
– Довольно! – прервал его Каракалла. – Нам давно пора в трюм.

– О Каракалла! – воскликнул вестник,  
– Ты сам не знаешь, куда стремится твой дух отважный!  
– Хватит! – напомнил ему верховный правитель – веди меня вниз!  
– Если таково твое желание, мне остается только повиноваться,  
– возразил вестник – однако я весь трепещу, Государь,  
чуть только лишь вспомню эту кошмарную тварь.

- Какая тварь? – спросил Каракалла.
- Гиппотигрида. Она называется Гиппотигридой – застенчиво  
проямлил посланец.
- Гиппотигридой? – переспросил Император.
- Гиппотигридой... – прошептал тот.
- Так значит Гиппотигридой? – прохрипел Кесарь, дрожа от еле  
сдерживаемого гнева.
- Да, именно так ее и зовут – раздался робкий ответ,  
которого уже никто никогда не услышал.

Над Римом трубят золотые трубы,  
Бубнят бубны под звон тимпана,  
гремят барабаны, колокола кивают в кимвалы,  
всхлипывают флейты, лают балалайки  
прямо в хрипящие рты органов и контрабасы  
дрожат, дрожат.

Урчат деревянные глотки гобоев, стучат уличные ксилофоны,  
им вторят какие-то нескладные музыкальные орудия, скажем,  
роги,  
ревут пустые высушенные на солнце тыквы,  
похожие на погремушки коксовые орехи, полные ракушек каури,  
и с ними сами по себе огромные полые раковины  
издают протяжный трубный вой,  
каждым звуком выдавая себя с головой.

О чем же пытается поведать римлянам эта унылая какофония?  
Чего это она им мелет, завывая чем громче, тем менее  
выразительно?

В городе происходят невидимые события,  
поговаривают об имеющих вот-вот произойти переменах,  
там и сям мелькают фигурки ликторов,  
гигантская толпа медленно стигивается к гипподрому.

Под низкие звуки гнусавых волюнок,  
под ропота золотых арф мелодическое сопровождение  
лица, составляющие толпу, готовятся занять сиденья,  
под посыпанье середины цирка из центра вскользь струею  
с песком

(один ритуал стоил другого)  
арена была еще пуста,  
но слух уже полнил уши из уст в уста:

- Сам Император
- Собственной Персоной
- Своей Особой
- С Особым Видом
- С Чудищем Африки
- С Гиппотигридой...

Вначале явился гурт пританцовывающих слонов.  
Не участвуя в состязании, их выводили просто дабы  
подобающего случаю величия событию придать.  
Поэтому они шли, свободно махая во все стороны хоботами,  
хлопая ушами,  
громко лязгая клыками  
и левой-правой помавая как руками огромными бесполезными  
бивнями.

За ушастыми хоботными  
шагали страшные как лев камелопарды;  
бредовых сонных носорогов провели особняком;  
вот прокатились лохматые муравьеды,  
и в чем мать родила гориллы  
прошествовали верхами на дромадерах, которых кудрявые  
лишь одни холмы спины  
выдавали согдийское родоначалие своих горделивых носителей.

Произошла шуточная схватка, журавли против пигмеев:  
на перелетных белых птах вдруг напали маленькие тропические  
человечки;  
макака гнала впереди себя на радостях ежа;  
две другие обезьянки ловко изобразили скарабея за черной  
работой –  
весь амфитеатр хохотал над суетной верой обитателей  
Нильской долины;  
вызывали Аписа.

Смолкнул громкий несправедливый смех и  
глаза толпы снова встретились на желтом песчаном пятне  
посреди поля,  
где теперь храбро бились армии войск,  
крупные хищники, а затем и огни пожарили тела тайных  
изуверов Востока,  
костры пылали, кровь кипела. Сумерки сгущались над цирком.

Нужно разъяснить, что никто из зрителей  
никогда прежде в глаза не видывал Гиппотигриды.  
Это относится и к участникам столкновения,  
исключая, быть может, капитана судна из Африки и вестника,  
но не правителя: ему, как и многим другим, предстояло здесь  
впервые насладиться. Все разразилось внезапно, словно  
молниеносный град.

В сгустившемся мраке трещали одни только розги ликторов.  
Вдруг сумеречные факелы, ярко вспыхнув, осветили арену.  
Затмение кончилось. Сиятельнее всех светил небесных  
вышел Гай Август Кесарь Антонин Пий Аврелий  
Марк Север Каракалла, Император.

Амфитеатр завыл, зажмурился,  
а из противоположной дверцы  
уже скакало навстречу непобедимому  
чудище,  
свет и тьму в глазах смотрящих  
на струнах шкуры копытами перебирая.

Снег и уголь как на клавишах клавикорда,  
словно под пальцами хладного виргинала черного дерева  
мамонтов зуб,  
скалящий царственные октавы рояля  
с фортепьянною отдельной нотой клавесинной клавиатуры  
и каждую топнув ногою и ребер касаясь и громко копытами  
шкуры.

Зарябило, запестрело, зарешетило,  
вспыхнуло и погасло,  
и снова вспыхнуло,  
и вновь погасло,  
лишь светлый меч мелькал  
в перемежающемся мраке.

## лето тарбагатая

Если бы Тарбагатай был кулан, вольно пасся бы он под  
крылами бурого бородатого беркута.

А будь он холм, поросший саксаулом, мы нашли бы  
следы сайгака в его тенистом прибежище.

Окажись он неведомо кем, ветер тень бы его унес  
ввысь, под дождевые облака.

Но Тарбагатай возник среди людей и мы застаем его у Доржиева, отроду лет семи-двенадцати, у ног учителя, у которого он учился молчанию.

А дождь пронесся выше, чем тень его, смыв отпечатки сайгачьих копыт у орлиного гнезда под саксаулом, где суровый птичий царь и поныне пялит неподвижное око вслед блеску солнечных точек на исчезающей вдали шкуре кулана.

Если бы Доржиев был вулкан...

Впрочем, дело пока о Тарбагатае.

Санями с шестеркой бурундуков Тарбагатай пересек высокую Обь. Пурга скрипела стволами протяжно поющих сосен. Во тьме сиял город. Возле двухэтажного бревенчатого дома без крыши ползучая квадрага остановилась. Исчезли полосатые белки. Тут жил Доржиев, высокая родня по отцу. Тарбагатай взошел по лестнице вверх и увидел человека в халате.

Струями шелковой чешуи узкие перистые тела уходили в белые петли, свивающихся в хвост чресел. Ткань сыпала снег и иней: иньская чешуя блестела шелком на белоснежном переливе в кошачьих изгибах змеиноного туловища. Дверь захлопнулась и струящийся лесной иней мгновенно погас. Ему дали горячей воды.

А за дверью и за окном иней тек длинными струями из-под звезд: с черного неба высочайшей из рек Сибири падала, летая, тая над домом Тарбагатая, пурга, кристаллический порошок бурного снега, ветренная инея инь и янь непогоды.

А мальчик пил горячие воды и так прошло семь лет.

Будь Доржиев просто вулкан, нам довелось бы увидеть однажды, как дым и пепел высыпаются в небо черным столбом сквозь полярную шапку. Но если Доржиев и был вулкан, то вулкан этот был потухший. Лишь изредка в воздухе над испепеляющей влагу чашкой проносился перед ним вихрь с криком:

– Пурх! Хурх! Я последний спившийся шаман Онг Уде-

ржи-Ветер! – и вялые тела драконов схватывала невидимая судорога. Но головы спали, прошло семь лет, а Доржиев все пил пламенеющую воду и думал о тех, кто ушел за кваггой.

*– Живая падаль идет! – ликовали в селении людей-гиен.*

*Продолжались праздничные приготовления. Самки в возрасте столпились около круглой скалы. Щенки с детенышами таскали сухие обломки кустарника для костра, украшали себя шиповатыми соцветиями. Кое-кто уже пробовал приплясывать, не касаясь мордочю почвы: лапы помогали удерживать равновесие. Понемногу составились хороводы из молодежи. Украшенные мохнатыми татуировками и стянув в два округлых пучка натертую глиной шерсть головы, ковыляли девицы. Блестели всеми оттенками масла повидавшие виды осклабившиеся самцы. Тряслись ожерелья из магических жучек. Хороводы сближались и удалялись, распадалась на пары, падали все разом, скользя мохнатыми телами меж рук, бедер, локтей, вскакивали, визжали и снова бежали:*

*– Живая! Живая! Живая! – дружелюбным воем встретила философов деревенская церемония. Их окружили и стали подталкивать поближе к костру.*

Картина перед глазами Доржиева поехала полосами. В сухой степи вдруг вохникли просеки влажной травки. Между пней восстали счастливые семейства нежных рыжих грибов с белыми точками на крышах. Заблестела роса. Полосы расплзлись, но лишь с тем, чтобы вновь сплестись в рассветный перелесок. Вот-вот солнце взойдет – и Доржиев увидел лысую рыжую голову воскресающего западного предка в белых туманных пятнах. Доржиев расправил перья и понесся лицом к

закату. Багряный шар теперь грел ему брюхо, кругом катались змеиные вихри. Там белое пламя пропрыгало между мрачными кучевыми громадинами, раскаленный дождь стал струиться из драконова чрева в чашу Тарбагатая. А Доржиев еще немного выше воспарил и увидел, как медленно ползет к нему навстречу русый волокнистый атмосферический гриб. Это был демографический гриб, дитя заката. Словно копна вселенского сена, дышала скошенная постепенно распухающая масса, поглощая все, чего ни касалась – и не видать уже ни третьих небес, ни четвертых. Драконы Онга попятились, приспустили крылья.

– Угли, угли – вскипел шаман.

Тарбагатай протянул ему горсть. Дракон рыгнул эти угли в грибную копну, края травинки зарделись, и стало видно, что корни стога уходят вглубь, в самую середину галактического Стрельца. А копна все пухла.

– Угли!

Вновь Тарбагатай дал горсть, и тут ему сжало ладонь вокруг каленой пригоршни, взвилось ввысь и с новым криком: «Угли!» яркой вспышкой метнуло в наползающее соломенное чрево.

На архаической огнедышащей угольной колеснице, перебирая копытами внутрь масляными ступицами с шатунами, сверкая всасывающими воздух потоками спиц в шипящих вихрях отработанного пара, мимо столбов с кипятком и гейзеров праздного трудолюбия несло Тарбагатая на отдаленную западную стоянку. И Доржиев протягивал грозовую ладонь и сухо кричал:

– Огня!

Вдали виднелись огни Москвы. Сверкали зарницы.

## Среди гиен

В неверном пламени костров поимщики квагги не сразу разглядели как резко выделяются ритуальные наряды руководителей церемонии. У простых участников голова, лапы и хвост – все пребывало на местах, какие им определила природа. Между тем главари скалились мордами, прилаженными к самому низу спины, в то время как окончания хвостов развевались высоко в воздухе у них над макушкой. Из-под хвоста, на месте носа, торчал сальный губчатый выступ багрового цвета, длиною в хороший аршин. Глаза прятались в грязнобелой шерсти, сплошной бородой окаймлявшей отверстие щелевидного рта, с усов которого свисали мохнатые овальные придатки.

– Все известное о нравах здешних народов говорит, что мы присутствуем на каком-то важном и таинственном обрядовом действе – обратился укушенный философ к одному из жрецов на ломаном кафрском наречии.

– О, не преувеличивайте – качнул тот влажным хоботом – это самая обыкновенная сельская гулянка.

Услышав такой ответ, Укушенный засомневался:

– Ваш язык великолепен...

– Несколько университетов, что ж тут такого?

– Так вы расскажите нам, пожалуйста, что тут происходит.

Последовали разъяснения из самых первых уст.

– Обычного европейца, так называемого «белого человека», часто потрясает уже то одно, что мой народ отождествляет себя с гиеной. Лет сорок тому назад один миссионер увидел как-то rectum моего папаши, а был он вдвое внушительнее вот этого – сынок пошевелил мясистой трубой – и, хотите верьте, хотите нет, это правда смешно, не мог притронуться к пище, отошал, отрекся от всех намерений и покинул страну.

– Позвольте – перебил его член экспедиции – вы кажет-

ся сказали, что *rostrum* вашего почтенного батюшки...

– Я сказал не *rostrum*, а *intestinum rectum* – сухо возразил его горделивый обладатель. – Разве вам ничего не известно об общественных привычках дикой гиены? И вы не осведомлены о том, что выпускание этого органа служит у нас знаком высшего доверия и сердечного расположения? – тем более глубокого, чем далее наружу он выпущен. В нем и только в нем обитает чувствительная стихия нашего геральдического зверя, на нем отражаются даже мельчайшие движения наших душ.

И правда, омерзительный отросток побледнел, съежился и стал втягиваться в глубину между сверкающих глаз говорившего. Видно было, что хозяин сердится. Тут философы принялись его наперебой уговаривать, что они де ничего в виду не имели, что это недоразумение, что эту вещь они назвали *rostrum* по ошибке, опираясь на ее расположение среди частей скелета, а не в смысле какого-то осуждения или брезгливой оценки. Тот понемногу опять смягчился и продолжал.

– Древнейшие предания моего народа говорят, что все существующие обитатели земли происходят от некоего Гиены-Андрогина, который жил неподалеку отсюда, на Песчаных Холмах, в полном уединении. Это совершенное состояние ему или ей вскоре наскучило, и тогда она выпустила свой...

– Понятно... – вставил Укушенный.

– ... и совокупилась с ним. От этого брака родились все последующие поколения животных, людей, рыб, птиц и растений, причем только гиены сохранили благородное и откровенное прямодушие своего предвечного родоначальника, которому и мы изо всех сил стремимся подражать. Воспоминанию о Гиене-Андрогине посвящена сегодняшняя гулянка: рассмотрите мой наряд как можно внимательнее. Подобно истым гиенам, мы наших душ не скрываем, мы их всецело обнажаем. Да и что там в сущности скрывать? Я слышал, что новейшие течения ва-

шей изящной словесности лишь недавно достигли того уровня душевной искренности, на котором испокон веков зиждится мораль моего народа. Я слышал также, что новейшие течения не пользуются у вас поддержкой ни общества, ни правительства, писатели бедствуют, и это глубоко прискорбно.

Последнее язвительное замечание носителя высших основ морали заставило наших соотечественников переменить предмет разговора.

– Чем питается ваш народ?

– Падалью, разумеется – невозмутимо отвечал предводитель таинств.

– И только?

– Это не такая уж ограниченная диета – усмехнулся Хобот. – Должен сказать, мы вообще-то все, что видим и слышим, мыслим и ощущаем, все это мы делим на два отряда вещей. Первый называется «еще-не-падаль» и обнимает вечное, абстрактное, невоплощенное. Второй же состоит из вещей, существующих во времени, текучем и переменчивом, а потому близких к совершенной падали – и на языке наших мудрецов именуется «уже-падаль» или просто падаль. Все съедобное есть, попросту говоря, падаль.

– А как же небо, земля?

– Небо относится к классу «уже-падаль».

– Нет ли здесь противоречия?

– Скорее парадокс. От земли мы всегда чего-то ожидаем, поэтому она «еще-не-падаль». А небо «уже» свершилось и относится ко второму разряду. Или вот человек высшей культуры – по-нашему падаль, а какой-нибудь самонадеянный дикарь – еще нет. Но увы, я должен покинуть вас. Меня призывают мои общественные обязанности.

С этими словами выпускник трех университетов исчез в толпе танцующих.

## *Критическая оценка*

– Никто не поверит, что мишенью твоих ядовитых выпадов является новая литература – сказал мне Авель, когда прочитал предшествующие страницы. – Твой космический миф просто гнусен, помимо любых аллегорий. Тебя обвинят в белом чванстве, в европеоцентрическом шовинизме. Готовься.

– Я готов. Я готов рассказать в оправданье, как наша музыка возникла из похждений ошипанной индейской вороны. Или об. излиянии реки Енисей из-под шелкнувшей вши. Кишка Гиены-Андрогина, видишь ли, тоже была не простая, а психическая и пневматическая. Когда-нибудь я и ее переложу на музыку.

– Пусть так. Но что можешь ты противопоставить подобным теориям? Разве наша космогония лучше или полнее, или состоятельнее?

Я хотел уйти от авелева ехидного вопроса и вернуться к проблеме пола в истории первичной Гиены – кто из них был муж, а кто жена, но тут в дверь решительно постучали.

## **БОЛЬШОЙ ТОЛЧОК**

Вошедший звался физик Теофан. Не берусь его описывать с помощью общеизвестных начал телесной или костюмной физиогномики. Скажу только, что лицо его – в противоположность большинству тех, кто относит себя к сословию физиков, и о которых говорят «он физик», что вносит большую путаницу, ибо наводит на мысль о невероятно высоком и премудром, вроде Эйнштейна, так вот лицо физика Теофана вовсе не обещало с возрастом приобрести то непоколебимое мрачно-ва-

серьезное значительное выражение, которое дает своему носителю верное право именоваться старым оборотом.

Феофан, хоть и был он физик, принадлежал к новому поколению. Он был живой, любознательный. Прагматический принцип «работает формула – и ладно» он всем сердцем отрицал, по справедливости усматривая в нем чистый сервилизм, интеллектуальное лакейство. А ведь эти слова были крупными буквами выписаны на знаменах целой формации людей нашей науки. Феофан же во всем хотел достичь глубинной сути. Что он полагал за «глубинную суть», это уже другой вопрос. Например, он скептически относился к подходу Гиббса, развитому в конце прошлого века и ныне общепринятому, но отдавал предпочтение некоторым забытым впоследствии направлениям, содержащимся в работах Гамильтона, следуя которым можно было надеяться получить картину законов движения, воспользовавшись так называемыми «числами Гамильтона» или «кватернионами». Личность Гамильтона его глубоко восхищала. По его словам, тот половину жизни провел за бутылкой бренди, а когда умер, в ворохе бумаг оказалось полно обглоданных бараньих костей. Разумеется, при всех своих радикальных воззрениях, Феофану и в голову не пришло бы усмотреть в этих костях останки космического Агнца. Ведь он был заражен предрассудками своего сословия: думал, что космологию и космогонию нужно выводить из физической науки, что эта последняя достигнет совершенства, если воспользуется правильной математикой, считал также, что биология есть род особо сложной химии, которая, в свою очередь, выводима из физики – словом, принимал весь набор благоглупостей, дающих физику право поглядывать сверху вниз на остальное человечество. Но сам по себе он был довольно честен и не лишен воображения. Более того, он отличался любовью к истине. Поэтому в конце концов он умерил свое ученое чванство и стал со вниманием относиться к сторонам бытия, находящим отра-

жение в гуманитарных усилиях. С одним из плодов своего неофитского рвения он и явился к нам в эту самую минуту.

– Хочу вам кое-что показать. Думаю вы любопытствуете послушать.

– В чем дело? – спросил Авель.

– Вы оба, помнится, сокрушались, что физика и эстетика в наше время разошлись, что космология нынешних дней не освоена искусством, что поэзия не поспевает за точным знанием. Было такое?

– Ну, и что?

– Хочу показать вам, что это не так.

– Каким же образом?

– Вполне конкретным. Сейчас увидите.

Феофан зашевелился, достал пару листочков. Я заподозрил самое худшее. Авель тоже пришел в ужас.

– Неужели и вы теперь пишете стихи?

– Как правило нет – пробормотал Феофан – однако ваши разговоры довели меня и до этого.

– Но... – начал было Авель.

– Никаких «но»! Нужно послушать. Потом будем разговаривать.

– О чем же ваша поэма? – спросил я.

Феофан приосанился.

– Да. Поэма. Сейчас. – Он все пытался найти третий машинописный листочек. – Вы, конечно, знаете, что такое Биг Банг?

Мы с Авелем переглянулись.

– Насколько мне известно, это на англо-санскрите – медленно заговорил мой друг. «Банг» это такие сигары из свернутых листьев экзотического кустарника. А дальше все о кобыле какого-то офицера. Так что про Огромный Банг мы кое-что слышали.

– Тут что-то не то. – Феофан не обратил ни малейшего

внимания на наши заигрыванья с колониальной лирикой. – Ничего вы не знаете. Нет там никакого санскрита. Биг Банг значит «Большой Толчок».

– В сельской местности я видел несколько, но среди них не было ни одного большого.

– Не знаю никакой сельской местности. Биг Банг – это теория Большого Толчка, о происхождении Вселенной из точки посредством изначального взрыва. Я изложил ее в стихах. Полагаю, что мне удалось сделать шаг в направлении к искомому синтезу. А если я сделал этот шаг, можно будет сделать и следующий.

– Велика ли поэма? – спросил Авель.

– Каким размером написана? – спросил я.

– Строк шестьдесят. Не так много для космологической поэмы. А размер – я начал верлибром, но скоро понял, что новшество будет и с содержательной стороны более чем достаточно. Переделал в четырехстопный амфибрахий.

– О, амфибрахий. Но мы же все равно ничего не поймем.

– А вы послушайте.

Феофан уже готов был начать, но вдруг сам одумался.

– Тут, конечно, терминология. Читайте вы. Потом прочитаем еще раз. Вслух, громко. Читайте!

Вступление оказалось в оссиановском роде:

Старинная песня, былые дела –

Одна только Точка вначале была

Феофан комментировал:

– «Былые дела» – девять миллиардов лет тому назад. Или пятнадцать. О Точке мы уже говорили.

И сила такая была в этой Точке

– «Сила». Все, что мы сейчас видим в космосе, в те времена было свернуто в многомерном пространстве, словно упругая нить, если скатать ее в ничтожных размерах шарик.

Что не умещается в строчке

– «Что ... не» – этой паузой я даю понять, что существуют вещи, пока наукой не объясненные.

Стопы нехватает, а я не Шекспир –  
Была кривизна ее в семьдесят пи.

– «Стопы» – собственно, если быть точным, нехватает двух третей стопы, но там ударенье. Будем считать, что стопы. «Шекспир» – он тоже много писал о космологии, светилах, стихиях. «Семьдесят пи» – это, впрочем, недоказуемо. Но наверняка больше, чем кривизна трехмерной сферы, равная четырем пи.

.....  
А кварк очарованный громко икал

– «Кварки» – все знают, их заимствовали из джойсова «Финнегана»: три кварка для короля Марка, а считая с антикварками, их шесть, еще три для Тристана. «Икал, кашлял, чихал» – так я изображаю их сложные резонансные взаимоотношения:

... и чихал антикварком

– Дальше все пока просто:

Поэзии Дублина пышным подарком

Науке обязан наш нынешний век –  
Биг Банг начинается! Финнеган, вэйк!

– Я отдаю должное поэзии, которая подарила физике три кварка, признаю высокую роль Поэта – Творца Имен.

В таких выражениях Феофан прославлял поэтов-островитян. Авель был глубоко тронут. Позже он признался мне, что сразу вспомнил строку из последнего монолога Отелло:

Where a malignant and a turban'd Turk...

Впервые к этому стиху привлек его внимание один из героев Борхеса, который нашел там «любопытное сочетание эпитетов, выражающих физические и моральные качества». Авеля же приводили в восторг сочетания звуков:

Когда зловредный и тюрбанный Тюрк...

Ему оставалось непонятным, зачем этот красочный персонаж появился там, где иы его находим, и как сочетать этот перевод, почти безупречный, если смотреть на одну только эту строку, с общим смыслом сцены.

Когда Авель попробовал перевести весь конец монолога, он убедился, что «тюрбанный», если и выражает «физические качества», то лишь внешне, по существу же стоит в одном ряду с такими выражениями, как «скотская рожа в сапогах» или «задница в папахе», что и диктует интонацию всей сцене. Вот его перевод:

... когда в Алеппо  
Какой-то вредный Турок, мразь в тюрбане,  
Венецианца бил и хаял нашу  
Республику, я взял его за глотку:

– А, пес обрезанный!  
И нож ему – вот так!

Актер, изображавший Мавра, мог с этим текстом разыграть его самоубийство в виде действия «драка с невидимым Турком» – зрелище должно было быть варварское, но не лишенное своеобразного великолепия.

Что же касается недостающей стопы Феофана, которая и напомнила Авелю о Турке, то он утверждал, что ...sized в забавном словосочетании «circumcized dog», «пес обрезанный», во времена Шекспира произносилось на два слога, и стоп там ровно столько, сколько требуется.

Тем временем мы продолжали читать поэму о «Большом Толчке». Феофан приговаривал разные занятные вещи. Недурен, в частности, был намек на «дефект массы»:

Свет – светский повеса,  
Чем более светит, тем менее веса.

А описание второй стадии Толчка, на которой создавались ядра атомов углерода и железа:

... и уголь сварился в чугунные ядра  
Да чуть водорода, да плюс эмцеквадра

заставило Авеля одобрительно улыбнуться:

– Неологизм! – Однако прочитав, что фотоны «алели вдали» он поморщился. Тут Феофан произнес довольно длинную апологию о том, что спектры весьма удаленных тел смещены в сторону красных расцветок. Когда-то синие, они были ближе, но с тех пор все время алеют.

Авель попросил прощения, и мы изучали «парад светил» в полном благодушии.

Там черные дыры сжимались и гасли  
Иные в туманностях тухли и вязли  
Иные раскисли в гигант голубой  
И тянутся по полю сами собой  
За шлейфом галактик в спиральных ливреях  
Как красные карлики в белых пигмеях.

Вон, смотришь, кружит розоватый титан  
Весь в протуберанцах косматых сутан,  
Светил патриархи проходят базаром  
Квазаром с надутым султаном пульсаром,  
А Солнце из шелка расшитых штанин  
Глядит как одетый в шафран мещанин,  
Который нажил ослепительных сует  
И светом в орбиты планетные дует...

Заключительные строки поэмы:

Космической пылью засыпан туман,  
И мир – сотворен... Засыпай, Финнеган!

также не вызвали особых дискуссий.

Все было ясно.

Феофан ждал, что мы скажем, однако сказать что бы то ни было было не так-то просто.

Разумеется, Феофан в поэзии понимал не больше, чем бегемот. Чего-то в нем этакого нехватало. Уяснить более глубокую причину мог бы Авель, но он мечтательно уставился в угол комнаты, обращенный к скоплению внутри созвездия Стрельца.

Я же вовсе не знал, что сказать, а потому смотрел то себе в ноги, то на Феофана.

## *Междоветие*

- *Ах, Феофан – произнес, наконец, Авель.*
  - *Ох, Феофан – вздохнул я.*
  - *Что – Феофан? – спросил Феофан.*
  - *Увы, Феофан – затянули мы оба.*
  - *Ну – и...? – повторил Феофан.*
  - *Феофан, Феофан! – воскликнул я.*
  - *Да, Феофан – подхватил мой лучший друг.*
  - *Нет, Феофан – я поддакнул ему.*
  - *Феофан, так Феофан – согласился Феофан и направился к двери. – Спешу к Луизе. Благодарю вас.*
- Дверь захлопнулась. Послышался звук удаляющихся шагов.*

## **в стране чудес**

- К которой это Луизе пошел Феофан? – спросил я.
- Как? Ты не знаешь Алисы? А в «Стране Чудес» ты тоже никогда не бывал?

Я знал, что для физиков устроили недавно отдельный бордель. Он помещался в забавном домишке с заячьими ушами в трубе и мешанскими занавесочками по подоконникам. Хотя бывать мне там и не случалось, я обратил внимание на намалеванную детским почерком жестяную вывеску «Страна Чудес» над резным крылечком.

- Неужели Феофан туда шляется?
- А что ему остается? Куда все, туда и он.
- А эта Алиса – хоть ничего баба?
- Баба – как тебе сказать, она у них там одна-единствен-

ная – отозвался Авель. – Очередь. Я раз заглянул из любопытства. Обстановка как полагается: зеркала, зеркала... Столики, журнальчики, шахматы. Все маленькое как в детском саду. Вокруг навалом игрушек – атмосфера невинности и фантазии. Чайник кипит. И полно физиков. Сидят тихо, все трезые. Спрашиваю одного:

– Вы последний?

– Это зависит от системы отсчета.

Я ему в тон:

– Скажем, если принять хозяйку этого очаровательного уголка за начало координат.

Он мне:

– Ха-ха-ха. Что-то я вас здесь раньше не встречал. Вы не из обсерватории? У кого кончали?

– Нет – говорю – не из обсерватории. Но вы мне все-таки пожалуйста ответьте, кто тут последний при условии, что множество упорядочено относительно вектора ожиданий.

– А как вы насчет нелокальной конгруенции?

Я призадумался. Даже стало на секунду стыдно за человечество. Или шутит? Отвечаю как можно осторожнее, чтобы и его зря не обидеть и самому не вляпаться:

– Когда речь заходит о пространстве простейших событий, я становлюсь сторонником чисто сингулярного подхода.

– Ах, сингулярного... Придется вам тогда посидеть, подождать...

– Хорошо, но за кем я?

– О, за кем угодно.

– А за вами можно?

– За мной? В каком смысле?

Снова покрываюсь горячей краской, но тут является из объятий Алисы клиент и громко делится впечатлениями:

– О, как она растет!

Оказывается у нее манера – в известные моменты она

выкрикивает «Ой, я вытягиваюсь!» или «Ой, я опять сокращаюсь!» А эти болваны довольны: девушка, а реагирует как математическая функция, хоть в ряд Фурье разлагай.

Выходит Луиза – ростом она лет на одиннадцать, ножки циркулем, сухие ручонки, платые до колен, челка, бантик, косичка, носик, веснушки. Выходит и объявляет нараспев, словно былых времен поэтесса:

– Как я росла... Как монотонно и мучительно росла я...

Ей отвечает всеобщее сюсюканье, поцелуи в воздух.

Клиенты кричат:

– Алиса, ты просто обязана, обязана почитать нам про Ваньку-встаньку!

Та долго ломаться не обучена, возносится обеими ножками на детский стул и деламирует:

### Ванька-встанька

Встанька видит Ваньку

– Вставай-ка – говорит.

Ванька отвечает:

– Голова болит.

– Что за уголовщина! –

Давай дивиться Встанька,

– Проще быть не может,

На голову встань-ка!

Ваньке удивиться

Очередь подходит:

Смотрит, удивляется,

Стоит и не уходит.

Читает истово, с выраженьем, чистым и звонким ребячь-

им голосом. Слышны крики:

– Гоголь-моголь! Гоголя-моголя!

Читает «Гоголя-моголя»:

Полез Гоголь-моголь в бутылку

Хвать пробку об дно кирпичом.

Его не подцепишь на вилку,

И штопор ему нипочем!

Умиление переходит в высший градус, олухи орут:

– Какая пронзительная иррациональность!

– Какое тонкое смещение подсознательных планов и ракурсов!

– Какой смелый отказ от обыденных средств выражения! – и подобную пошлятину.

Требуют пенья. Алиса распевает на мотив «Долговечного гнезда»:

Невеличка-недотрога,

За каки-таки грехи

Из дупла у носорога

Декламируешь стихи?

Наконец, общее напряжение эмоций разрешается в «нелокальную конгруэнтность». Первооткрыватели континентов неведомого мажут друг друга и Алису вареньем, трут мармеладом, обсыпают сахарной пудрой, суют пастилу подмышки, пускают слюни, облизывают... Я же упрямо держусь сингулярной гипотезы и отсел в сторонку. И вот из этой груды человеческих тел выкарабкивается Алиса, вспархивает ко мне на колени, толкает в усы марципан и пищит:

– Вы новенький, да? Так скоро остепенились? Хотите, я буду с вами как Трубочист Ужонок Тэд?

– Это который сам себе велосипед? Благодарю вас, не надо. И как лягушечка Люис Жаб – тоже спасибо.

– А как же мне с вами быть? – надувает губки Алиса.

– Давайте, это я лучше буду с вами как Зайчик Квантик – возразил я, выпил остывшего сахаринового чайку и швырнул хозяйку дома обратно к ее сладостлюбцам, после чего стал скоростно удаляться. Уже на улице слышу мне вслед женский визг. Оборачиваюсь.

– Эй, ты, из обсерватории! – орет мне правительница Страны Чудес с резного крылечка. – В другой раз приходи со своим телескопом!

## Сеанс гипноза

– А что бы и нам сейчас не сбегать к этой Луизе? – сказал вдруг я. – Мне сладается, что за Феофаном осталось нечто невысказанное.

– Что ж. Но я буду ждать снаружи.

По дороге Авель вел себя беспокойно. Когда в небе обозначились прозрачные контуры ослиных ушей над трубою, он бережно взялся за мой локоть.

– Я опасаюсь за тебя. Это же физики; их будет много. Давай свяжем себя одной веревкой, которую ты будешь время от времени подергивать. Если долго не будет сигнала, я тебя выволоку.

– Ты всегда носишь с собой веревку?

– Прошу тебя как можно меньше говорить об этом предмете.

Я поднялся на ступеньки и проник в полуоткрытую дверь, но дальше в маленьком помещении уже теснилась густая толпа. Там были не только носители высших званий, но также дамы, студенты и просто знакомые. Вечер только начи-

нался. Луиза, казавшаяся на расстоянии еще более трогательной малюткой, чем описывал ее Авель, взошла на стульчик и заявила:

– Сел зануда-Осьминог  
Полоскать Медузу –  
Голова не выше ног,  
Зад спиною к пузу...

У нас сегодня «Морская Кадриль»!  
Ей похлопали. Луиза моргнула и продолжала:

– Китовый Ус и Зуб Моржовый!  
Концерт для устриц на мели!  
Кому другому подошло бы,  
Однако устриц – подмели...

Смех и новые хлопки проводили очаровательного конферансье. Алиса опустила и уступила возвышенье парочке морских затейников. Ус Китовый был лошенный молодой человек, подтянутый как мичман. Зуб Моржовый, напротив, имел облик отставного капитана дальнего плавания. Между ними развивалась следующая драматическая ситуация. Капитан быстро скинул брюки, китель и остался в дамском купальнике-тельняшке. Эта метаморфоза вызвала осуждение со стороны его юного и неиспорченного напарника.

*Ус Китовый:*

Стареешь, тетя Катя,  
А ходишь на бровях!  
Не тот сезон да платье –  
Ни пугова ни блях!

Пожилой за словом в карман не полез.

*Зуб Моржовый:*

Была и я как дети  
Голуба-простота:  
Угрятину как в сети  
Хватала в оба рта!

Он встал на руки и прошелся, как обещано было, «на бровях». Однако молодой человек продолжал свою конструктивную критику.

*Ус Китовый:*

Ах, тетушка, чрезмерен  
Ваш буйный аппетит,  
Вперед несовременен –  
Назад не воротит.

В куплете содержался политический намек. Присутствующие загоготали.

*Зуб Моржовый:*

Ах, девушка, дашь дубу  
Под ним и желудй,  
А дашь соседу в зубы –  
На полку не клади.

Стихи сопровождались телодвижениями и завершились прстранным мимическим па.

*Ус Китовый:*

Нет, тетя-Екатерина,  
Как можно так всю ночь,  
Чтоб вы как балерина  
Из кожи лезли прочь?!

*Зуб Моржовый:*

Тебе такую оперу  
На память покажу,  
Что хватит на день по перу  
Год вламывать ежу!

С этими словами Зуб пустился в совершенно разнужданную пляску и под конец, действительно, «показал» не только своему дружочку Киту, но и всем зрителям.

Снова вышла Луиза, на этот раз с наигранным недоумением:

– Что же тут морского?

– Еж. Морской! – отвечал Катерина, похлопывая себя по седовласому седалищу.

Реплику покрыл взрыв звонкого хохота. Я воспользовался паузой, чтобы дать Авелю знать о моем полном благополучии. Луиза объявляла следующий номер.

– А сейчас – «Морское Перо»... Наши лирики.

Лириками оказался наш Феофан. Я ожидал снова чего-нибудь космологического, вроде уже цитированного:

.....ужасный Толчок  
И хаос завыл как дырявый волчок,

но Феофан следовал точным определениям жанров. Он прочи-

тал нечто весьма чувствительное.

Смотрю на оператор Гамильтона  
И вижу в нем большой огромный смысл –  
Как океан у берега бездонный,  
Где чайный клипер огибает мыс.

Он словно теорема Луивилля  
Плывет, виляя медленной кормой,  
А на носу химеры лоб кобылий  
Да Медным Змием интеграл смурной.

Пусть где-то в луже щука жрет тритона  
И треплет зайца трепетная рысь,  
А я на оператор Гамильтона  
Лишь посмотрю – и испаряюсь ввысь.

Феофан, как и многие, полагал, что если что в стихе написано, так то самое оно и означает. Поэтому его творения оставляли по себе впечатление некоторого слабоумия. На стульях перешептывались, говорили «он талантливый физик», выслушали с сочувствием, но без восторга.

– Знаете, он и правда работает над числами Гамильтона – обратили ко мне кто-то по соседству.

Я кивнул. Луиза стала разносить какао и кусочки липких лакомств на коротеньких шпильках, приговаривая в поэтическом роде инфантильно-интеллектуального сюсюканья, окрашенного на сей раз приличным объявленному на вечер стилю морским колоритом.

Крохотули-кексыки  
Для высшей математики:  
Улексю от лексики –

Прилетю к грамматике,

Наужу предлоги я  
Рыбке-барабульке  
Лёльку филологии  
Полялькаю в люльке.

Но какао и тортики пришли к концу, и хозяйка должна была вернуться к конферансу.

– А сейчас перед нами выступит гость из мира высокого искусства! Стихи прочитает... поэт... Валериан... Веронский!!!

Поднялся человек с бледным лицом, гвоздь вечеринки. В комнате и передней прошел ропот:

– Его стихи очень сильно действуют...

Валериан, как известно, ни физиком, ни кем таким не был, но был в их кругу невероятно популярен. Как действовали его стихи на физиков, я никогда прежде понять не мог, ибо на меня они не действовали никак. Меня слегка раздражала претенциозность: уж очень он валял из себя этакого «Поэта». Здесь мне предстояло услышать его чтение впервые. Однако Валериан покамест молчал.

Настала полнейшая тишина. Я дернул за веревку три раза: пусть Авель еще потерпит. Валериан продолжал молчать. Он устремил взор поверх публики и задышал глубоко и размеренно.

– Я прочитаю вам мою последнюю поэму длиною в триста пятьдесят три строки – серьезно изрек Валериан и снова умолк, не переставая отчетливо дышать. Постепенно между ним и аудиторией установился должный душевный контакт: дамочки тоже задышали полной грудью. Наконец Валериан произнес первую полустроку:

Уснул Поэт...

Слово «Поэт» прозвучало столь многозначительно и объемно, словно Валериан проглотил дирижабль. Он продолжал:

Уснул Поэт... И с ним уснули вещи

В конце строки голос поэта издал легкое завывание.

Уснули гвозди, проволоки, клещи,  
Отвертки, молотки, рубанки, пилы,  
Лопаты, грабли, заступы и вилы...

Завывание теперь точно следовало ритму. Глаза мои невольно закрылись, а Валериан продолжал, примешивая к четверостишиям что-то от трагической горечи:

Уснула мебель: спят шкафы, комоды,  
Торшеры, абажуры-обормоты,  
Столы и стулья спят. Суча ногами,  
Сопит диван протертыми углами...

Слова поэмы были простые, мысли самые незамысловатые, но произнесенные этим чугунным голосом, с емкими паузами, как бы намекающими на особый смысл, они приобретали пустую силу, которая должна была влиять на неопытные уши. Мне все чудилось какое-то шарлатанство, что было не вполне справедливо: я засыпал уже на второй строфе. Остальное, наверное, представляет собой плод смешения доподлинных стихов Валериана с моими сонными грезами.

Подобны женам сладкого вертепа,  
Безмолвны Музы. Сиплый зев Евтерпы  
Струит сироп под веки Мельпомены:

Спит улей, еле ползают Камены.

И так глубок был мой сон, что от следующей строфы осталось лишь смутное воспоминание, что-то о гомерическом храпе античных богов-олимпийцев, про Афродиту, которая

Чуть-чуть дыша: Любовь не продается!  
Уж неспеша Морфею отдается,

и больше ничего.

Сколько времени я отдавался Морфею, сказать не могу. В минуту пробуждения от ударов тела о ступени крыльца и лица о голову человека, крепко в меня вцепившегося и спавшего еще крепче – а бедный мой друг, соскучившийся, взволнованный и продрогший Авель все тащил нас на тресе, словно донный трал с уловом гигантских омаров – в ту минуту в памяти моей всплыло еще несколько строчек. Их-то я и пробормотал Авелю с наслаждением, не поднимаясь однако со ступенчатого уличного ложа:

Сметав меж стоп ночные рифм рубахи,  
Храпит хорей, хрипит под амфибрахий,  
Как в ступе кислый ямб, надетый на пест,  
Долбит сквозь сон мак дактиля анапест.

Ямбу искушающе вторил через дверь голос, витавший над оцепенелым собранием:

Сознанье усыпило подсознанье  
Спит следователь, дело и дознанье,  
Спит прокурор над бредом адвоката,  
Спит подсудимый, спит невиноватый!

Валериану удалось вложить в слово «невиноватый» такое глубокое, такое искреннее чувство, что голос его не выдержал, дрогнул, ушел вверх пронзительно и резко и там рассыпался. Громкий негармоничный звук окончательно привел меня в ясную трезвость и заставил на миг приоткрыть глаза нашего незнакомца – того, тело которого нечаянно выволочил заодно со мною Авель из внутренних помещений Луизы. Это был молодой человек тяжелого телосложения, в кубическом пиджаке синего цвета, с шафранным лицом и скулами, заставляющими вспомнить о минеральном царстве.

## СОН

А снилось Тарбагатаю, что идет он по далекому снежному городу. И что на голове у него шапка, и в нее падают сухие кристаллы воды. А рядом спешит, немного отставая, Иван Иванович Доржиев. И вот Тарбагатай садится в поезд. А в очереди перед ними стоял человек, и другой, и еще один, и четвертый в военном ремне, пятая была женщина, шестой – вторая женщина, восьмая – третья женщина, старуха-мать с морщинистым лицом, над лбом которого, словно дверь в шатер уходил вверх под стеклянные своды вокзала черный выступ головного платка. Девятой же стояла третья женщина, влипшая в покрытый грязью скользкий квадрат под черноватым решетчатым двойным стеклом зала ожиданий провинциального железнодорожного палатко. Там на деревянных лавках сидела, ела, лежала, спала и пила великая кочевая Русь. Цыганка кормила маленького цыгана. Ойротка оделяла влагой жизни небольшого ойрота. Бурятка не шевелилась и глядела вперед, потом поворачивалась лицом и смотрела в другую стену.

Закинув за спину узлы, человечество ехало на запад и на восток, раскатывая землистые лица слепых и безногих.

И когда Тарбагатай сам покатился, а равнодушное лицо Доржиева осталось на уплывающем вспять истоптанном снежном перроне (кто-то попросил у него прикурить, а спичек не оказалось:

– Нет огня – сказал Доржиев, и поезд поехал) одна только мысль тревожно удивила Тарбагатая.

Вот едет Тарбагатай в главный город державы. В том городе стоит восемь вокзалов. В каждый из них вкатывается по восемь поездов в сутки. В каждом поезде восемь вагонов. В каждом вагоне по восемь купе и в них по восемь тарбагатаев: два на средних полках, четыре на нижних да еще по одному тарбагатаю валяется среди узлов под угорелыми кровлями вагонов. Итого более миллиона тарбагатаев в год заезжает в Москву. Однако те поезда – не праздну же они там скапливаются. Точно такие же вагоны восемь раз в сутки с восьми вокзалов катятся по направлениям розы ветров и увозят с собою миллион в год точно таких же тарбагатаев. Смогу ли я уверенно сказать, слыша по радио в синем вагоне: «прибывает в Москву» и шипенье, что это именно *я* прибываю в Москву под шипенье и сиплый безрадостный возглас? Ведь в то же мгновение поезд увозит меня из Москвы. Зачем же *мне* ехать в Москву?

– Мы пересекли часовой пояс – сказал человек и стрелку часов отогнул за Тюменью.

Та же сцена повторилась в Свердловске.

– Мы все ближе к Москве.

И единственный выход – снилось Тарбагатаю – это пока я с перрона бегу на перрон, изучить географию, физику, тайные знания науки читать и считать – и вот я уже бегу на вокзал в направлении розы ветров, глава семейства, а за мной поспешает жена и семь тарбагатаев.

Тут он очнулся и увидел комнату Авеля.

## Пробуждение

Авель указал на сонное тело Тарбагатая:

– И кроме того я полагаю, его следует научить говорить.

Сейчас он, правда, спит. Но рано или поздно он проснется, захочет что-нибудь сказать. Как быть? Я сам не знаю, но надо что-то делать – будить, учить его, учить. Будить и говорить. Когда он встанет разбуженный, поговорить с ним и поучить. Чтоб научился разговаривать. Не все же спать ему иль бодрствовать молча. Ведь это ж человек, душа живая. Не дерево, не пень, чтобы молчать. Не бессловесная ж скотина. Но даже бессловесная скотина, когда разбужена, и та, бывает, начинает боромотать какие-то невнятные слова движеньем ног иль помаваньем морды. Но даже пень – и тот одним своим присутствием нам что-то сообщает. По крайней мере он говорит:

– Я пень.

Не меньше. По крайней мере он не говорит:

– Нет, я не пень.

Нет. Именно он говорит:

– Я пень, а не «не-пень». Пень – я.

Возьмем за образец хоть эту пеню пня.

Теперь положим: «пень порос грибами». О чем нам это говорит? – Что это «старый пень». Грибы о многих годах пня отъявленно красноречиво говорят нам, что это старый, престарелый, трухлявый, полусгнивший пень. Вот ход к уразумению языка грибов. Гриб не встает с простейшим пневым, пнинным заявленьем типа: «Я – пень» или, по аналогии: «Я – гриб». Нет, гриб членораздельно повествует:

– Я гриб. И пусть я – гриб, но это – старый пень. Не просто «пень», а «старый пень в опятах».

Сравни теперь насколько глубже, ярче, художественней, самоотреченней исповеданье скромного гриба, чем те тупые лаконизмы, которые нам глухо диктовал эгоцентрически в себе укорененный, односторонний или однобокий болван, бесчувственный обрубок, словом, сущий пень:

– Вот, это я. Я – пень. Я пень – и все тут.

Не то: «Я гриб...»

Уже в самом начале простейшего фрагмента этой фразы содержится избыток бытия. Помимо пня грибов не существует. За полным недостатком хлорофилла, гриба природа требует состарившихся пней. Ветшающие пни дают опору бытийствованию пешему грибов. За это речь гриба, того желая или не желая, но самым фактом скромного шептанья достойно перевозносит те же пни в их добром качестве для тел грибных опоры, для их цветенья, благопроцветанья, явленья, проявленья и удачи.

Да, речь гриба – огромная удача для эволюции суждения о речи. Теперь давай, учи Тарбагатая.

Дело было уже в комнате Авеля, куда мы дотащились с высокого порога в луизину дверь. Тарбагатай уже приоткрыл свои сонные вежды и внимательно слушал рассуждения о грибах и опятах. Однако стоило Авелю на него посмотреть, как он опять их сомкнул крепче прежнего.

## Дальнейшее пробуждение

И я сказал:

– О, Апель! Прошу тебя, раскрой глаза пошире и просто поразмысли, что это означает «спать»?

Вот, вижу, ты их раскрываешь.

Им видится теперь голубоватый мутный шар, кружащий по неверной загогулине, то один, то другой подставляя бок под косматое пламя. Освещенная сторона его спит, оттененная – дремлет, и взирают на него расчеканенные светочи ночи. Спят также запавшие от основания дней ему в недра минералы. Не ощущают они ни смены периода суток, ни сезонов весны и лета.

Большие части Вселенной окрашены в нежную дрему. Чем же пробудить спящий простор неосвещенной вечности? Или холодный горный кристалл, дико растущий во мраке?

Окинь любые пейзажи. Спят равнины с васильками и одуванчиками, спят влажные места, полные ландышей и незабудок. Члены трав медлительно копят в себе отравы – травяные сонные яды для поедающих их травоядных, таких как водяной козел или речная лошадь.

Вон разлеглась, развалилась она, объевшаяся корнями лотоса мать всех скотов, библейская «бегемот». Наружу из вод извлекла два уха, два глаза да две ноздри на мускулистых телескопических выступах, и грезит, погрузившись мордою в жидкую грязь.

И ты, о Авель, рассуди всесторонне, стоит ли нам спешить и будить Тарбагатай? Покуда спит Тарбагатай, мир бодрствует в нем. Но стоит ему пробудиться, и мир уснет. А мы должны будем водить его словно крота в балет, посвящать в симфонию гласных, зазывать во внутренности созвучий и, вложив ему в уста нашу речь, излагать как слагается вид образа из веского слога или показывать пути уловления тонкого дыма над телом строки для возбуждения вкуса к звуку. Мы застынем на второй странице.

– Давай приступим к первым определением – сказал Авель.

– Изволь.

Всякая речь есть речь поэтическая, поскольку она поэ-

тами сотворена и изречена. С другой стороны, будучи в употреблении у людей заурядных, она речь не поэтическая, а самая обыкновенная. Теперь нужно узнать, кто такие поэты. Их нельзя отличить по роду употребляемой речи. Их отличает мера достоинства, и эта мера абсолютна. Когда говорит поэт, цель заключена внутри того, что он говорит. В прочих речах предмет вынесен за пределы.

Поэтому я свободно повторяю: Все звуки однажды произнесены поэтами и суть поэзия.

– Мы застываем – сказал Авель. – Пожалуй и впрямь пускай он спит. А взамен теоретических умствований послушай лучше поэму «Ай».

Ленивец Ай в еде разборчив был.  
Он ничего не ел, помимо листьевеи коки –  
и пусть это чистая правда,  
но редкою рябью ямбических правил описывать Ая  
навряд ли может быть названо осмысленным предприятием.

Вон закатив свои кислые вежды в нирвану кустарника,  
откинувши куцую шею  
и приспустив никому не нужное бремя на ней,  
Ай виснет на ветке упругой  
рыхлому зданию дерева округлым противовесом.

Низкий лоб, приплюснутый нос, вывороченные губы,  
глумливая морда, совершенный дегенерат –  
вся лесистая волость реки-воительницы  
хототала над привередливым обормотом.

Вцепившись тремя когтями в который-то из суков,  
проводит на дереве коки взыскательный Ай время ливней –  
шерсть кожи с него уже слезла давно:

едва пришла дождливая пора,  
взамен ей выросли волосатые водоросли влажного  
тропического сыр-бора,  
не говоря уже о разных мелких тварях,  
а именно: медведках с майскими жуками, личинками стрекоз и  
саранчи,  
кишмя кишашими в его червивой шкуре.

И только два мутных бессмысленных глаза,  
не поставленные как у иных вбок, по краям головы,  
но устремленные внутрь, вперед  
выдавали в нем существо необыкновенное.

Все брезгают Аем.  
Его прогорклым мясом гнушается голодный ягуар.  
От него отворачивается с отвращением  
даже кровожадная рыба-пиранья.  
Дикого вампира не искусит та тухлая флегма,  
которая вяло струится  
по отравленным венам занюханной твари,  
по скрюченным одревяневшим артериям  
развороченным трактом аорты  
в изможденное думами коки горькое аево сердце.

Живое опровержение выживания наиболее изворотливых  
в лабиринтах жизни,  
защищенный одним живейшим омерзением, которое только  
способна внушить к себе сама мерзость,  
вечно гниющий на корню кустарника, идущего ему же в пищу,  
Ай висит, впиваясь в гибкий сук тремя ногтями,

а порывистый ветер  
знай раскачивает его как веер –

словно перезрелый плод ленивец Ай  
висит на извилистых выступах измельчавшего  
древа познания добра и зла.

А ведь предок Ая был в своем роде гигантом.  
Огромный как медлительный слон неполнозубый ублюдок  
бродил аев пращур между кокиевых баобабов,  
сгребал дерн листвы и опухшей коры  
рылом с надтреснутыми клыками  
зубами, ногами и лбом ел его, мял и жевал.  
Но все живое со временем утрачивает бывшее величие,  
и вот, та же судьба ныне постигла и Ая.

Не превосходящий размерами жалкой макаки,  
не выше ростом, чем заурядный зеленый лори,  
повиснул на черных крючьях мой хилый хиреющий выродок,  
внушая простое брезгливое чувство каждому, кто бы ни  
увидал его –  
и так – истлевая, но не увядая,  
словно бывалая ягода он пребывает.

Подобные таковым виды роятся в черепе Ая,  
одурманенном терпким ядом  
его духовного и растительного яства.  
– Да чем – так и вьется в рассудке Ая –  
чем самому извиваться, преодолевая злокачественный  
предрассудок,

я лучше поставлю когтем по мелкой отдельной букве  
на каждом единственном и неповторимом  
листочке моей вечной кожи,  
дабы явить искру мысли евокиевой молекулы  
зримым видом знака в материи ее матери-природы!

Но в ответ лишь шуршит кустарник:  
Все ведает древо бреда,  
Да и аев много  
В прутьях его таится.

– Ай – спросил я. – Кто же сочинил эту поразительную сатиру на творческий разум?

– Обрати внимание на высокую точность обрисованных отправлений. Ленивец Ай, певец тропического сыр-бора, вечно пребывает на той идеальной границе между бодрствованием и сном, которая и есть его творческая позиция. Телом – поскольку оно потребляет листву – Ай висит на суку. Однако духом – ибо в траве листвы содержится известная отравка – он парит высоко над лесом. Силой наркотического зелья душа ленивца плавает в мире его ленивых фантазий.

– Однако начертать знаки своих грез на листьях коки Аю не удается – заметил я. – Позиция у него есть, а творчества не видно...

– Верно. Кока обеспечивает лишь равновесие, но не синтез. В ней сила сна, а энергию бодрствования приходится черпать в иных источниках, которые Аю не отпущены. Все же, как видишь, мы сумели вывести корни поэзии из царства снов. Но только корни. Плоды мы увидим, когда Ай начнет вырабатывать яд сам в себе за счет подвигов фантазии, питаюсь при этом чем попало. Тогда он станет, наконец, созданием свободным, истинным бардом, рапсодом незримых миров, баяном музыки сфер.

– Пусть так. Но если поэзия есть мера пробужденья, то почему, скажи, стихи иных из наших стихотворцев так скоро и так плотно усыпляют?

– Вот по этой вот самой причине – ответил Авель.

С этими словами Тарбагатай поднялся на собственные ноги.

## облава

– Вы бледны – сказал Старший Гиена, обращаясь наутро к Укушенному. – А между тем будет облава. В округе появилось нечто, ни на что не похожее.

Не прошло и часа, как цепь местных жителей уже смыкала кольцо вокруг широкого поля. Поджигали траву, и видно было, как дымный круг собирается к центру. Гиены следовали за огненной каймой, готовые в известный миг раззять окружение, дать жертве выскочить из живой ограды, а там – навалиться все разом и схватить.

Молодой Кчсвами стоял в цепи вместе с другими своими сверстниками. О чем же думал Кчсвами, глядя на мечущихся в сизом кольце обитателей лесистых холмов саванны? Он видел похожих на дымные тучи голубых гну и облака белых ориксов, огненных жирафов, напоминавших в беге пятнистые молнии, и страусов, подобных раскатам грома. Он наблюдал за перемещениями каждого отдельного зверя и стай, сплоченных, словно единое существо, а также малые группы – по два и по три экземпляра: самцов, самок с детенышами, больных, бесплодных, вымирающих и последних представителей видов, озабоченно занесенных в сохранные книги. Все это видел Кчсвами. О чем же он думал, глядя на ожившую в бушующем огне равнину с пригорками?

– С каждым годом в наших краях все меньше дичи. Рассеялись орды слонов, редеют табуны носорогов. Когда я был ребенком, белые панды бродили по улицам родной деревни, младенцев нянчили горные гориллы, питоны доили коров. А сейчас...

Вдруг внимание Кчсвами привлекло создание, вырвавшееся скача из зачумленного дымом средоточия облавы. Оно так часто меняло положения своих конечностей, что глаз не

успевал следить за каждой, и все существо казалось каким-то бесцветным, полупрозрачным, почти нереальным. Кчсвами напрягся всем телом, подался вперед, отступил на два шага, бросил в сторону копьё и услышал из-за спины громкий, торжествующий крик вчерашних гостей, «живой падали»:

– Квагга! Квагга!...

Создание летело прямо к нему, гонимое дымом. Миг – и оно уже трепетало у самых ребер Кчсвами. Передавшаяся охотнику дрожь жертвы заставила его потерять равновесие, они сцепились и покатались по склону вниз, подминая карликовые баобабы. В травянистой низине их вращение замедлилось и остановилось. Теперь Кчсвами и философы смогли рассмотреть, кого же они изловили.

Это была не квагга. Перед отупевшими ловцами фигурировал прелюбопытнейший экземпляр человеческой породы. Начиная уже с одной головы он был донельзя странен. Его ступни были обуты в черные просторные мокроступы, из которых выступали вверх самые ноги в виде тонких трубок, обтянутых в туго облегающие белые чулки. Эти чулки уходили под ниспадающую с плеч угольную парчëвую хламиду. На голове покоилась плоская матерчатая сковорода размером с колесо кареты, отороченная по периферии мехом из гривы черного муравьёда.

Кчсвами, хоть никогда и не заглядывал в небесную трубу, сразу признал в той фигуре почвенное изображение планеты Сатурн с кольцами. Фигура волновалась. Она переступала с ноги на ногу, вглядывалась то назад, то вверх и всеми своими движениями показывала волю уйти откуда прикатилась.

– Пустите меня, пустите! Я почти поймал! Наконец-то я увидел ее! Я уже взял ее за рога. Да пустите же вы меня, о бессмысленные язычники!

Его, собственно, никто и не держал. Философы, услы-

шав как из обозвали, обиделись и опустили руки, а Кцсвами простерся к ногам небесного посланца, как оно и подобало бессмысленному язычнику, которым несомненно был молодой человек-гиена.

– Мы не бессмысленные язычники – сказали философы – мы сознательные атеисты.

– Если вы такие сознательные, что заставило вас покрыть себя этой скотской татуировкой? – спросило сатурнинское чучело.

– Это наша беда, а не вина – возразили полосатые. – А вот ваш наряд, прямо скажем, отдает не возвышенной верой, на которую вы намекаете, назвав нас бессмысленными язычниками, а на пустое суеверие.

– Мой наряд я ношу по указу короля Сигизмунда – сказал Сатурн. – Моя одежда свидетельствует не о суеверии, а о почтении к земным властям и приверженности здоровой традиции. А вот вы – кто это вас разукрасил? Они? – небесное тело указало на гиену, простертую перед его сверкающей обувью.

– Увы – отвечали искатели квагги – гиены не виноваты. – Мы сами окрасились.

Старинный человек еще раз взгляделся в своих собеседников и твердо произнес:

– Это лишай. Или проказа. Хотелось бы думать, что лишай. Надеюсь, что не проказа. Хотя скорее всего – проказа. Молитесь, чтобы это оказался лишай.

– Да мы все средства перепробовали!

– Да-да. Вы должны просидеть семь недель взаперти, а потом показаться священнику. Впрочем, настоящих священников пока нет. Вы должны просто просидеть семь недель взаперти.

– А потом?

– Потом еще семь недель. И показаться священнику. Которых у нас пока нет. Значит еще семь недель... А их все

нет... Пока нет... Но когда я поймаю... Ее... Так здесь написано.  
– он указал на книгу, которую держал в руках.

– Это в вашей книге так говорится? Что же это за книга? Уставы короля Сигизмунда? – спросили философы.

– Книга! Книга! – просиял небесный вестник. – Это древняя старая Книга. Она была начертана прежде, чем был сотворен мир, и с тех пор ее тщательно переписывают буква в букву.

– Но если ваша книга такая древняя, не может ли так быть, что и сведения, который в ней содержатся, тоже несколько устарели?

– Нет. Не может быть. Вовсе не так. Все обстоит прямо противоположным образом. В этой Книге ничто не может устареть никогда. Напротив, нынешняя книга, чем она новее, тем мгновеннее устаревает. Поэтому вы должны сидеть семь недель взаперти. Надеюсь, к тому времени мне удастся ее изловить. И вы сможете показаться настоящему, истинному, подлинному, должным образом освященному, просвещенному, истому, чистому и очищенному священнику – показаться и, если урок прошел вам даром и вы остались безбожниками, убираться в шесть углов бытия и там безумствовать жалкий остаток отпущенных дней в свойственной вам естественной, природой предписанной однородной масти. Аминь. Кстати, а позвольте услышать ваши имена, господа лишавые афеи.

Философы пробормотали в ответ свои невыразительные фамилии, вроде Ослов, Козлов, Калганов.

– А сейчас я должен вас покинуть. Надеюсь застать ее там, где она была.

С этими словами Жертва Поимки затрусил вверх по склону низины.

Перед ним лежало обгорелое поле, испещренное следами людей-гиен. Кой-где там искрились курящиеся пучочки трав, однако полыхающих рыжих пятен огонь более не развер-

тывал. В большом разочаровании он повернул обратно.

– Она ушла. Вам придется подождать.

– Кого это вы рассчитывали там изловить? – спросили Ослов, Козлов и Калганов, понадеявшись, что и тот ищет кваггу.

– Как – кого? Неужто вы ничего не поняли? Как же очистить священника без красной коровы? Да, нам необходима красная корова! И я ее только что видел!

Положение стало проясняться. Жертва Поимки развернул свою книгу.

– Здесь сказано: «возьми пепел красной коровы».

– И далее?

– Но я пока еще не взял пепел красной коровы. Вот когда я его возьму, но прежде я должен ее поймать, сделать пепел и взять.

– Красные коровы... – протянул Ослов – разве это такая уж редкость? Знаете, мы ведь тоже охотники. Давайте поможем друг другу.

– Согласен. Но вы должны понять. Я говорю о красной корове. О совершенно красной. Потому что как можно допустить нечистого священника к алтарю? Ему даже прокаженного не покажешь. Ошибется, наврет чего-нибудь. Скажет: лишай. А нет священника – откуда взяться Белому Ослу? Кстати, вы кроме меня кого-нибудь поймали?

– Мы-то ищем бесцветную зебру – сказал Калганов – и мы ее, к сожалению, упустили.

– О! Бесцветную зебру! – восхитился пойманный. – С такими харями только и искать, что бесцветную зебру. А зачем?

– Показать начальству.

– Какое суетное побуждение! Неужели вы не можете просто доказать, что такая зебра существует – и дело с концом? Земное начальство верит в логику. Докажите – и все тут. Зачем показывать?

– Прекрасный совет – отозвался философ Козлов. – Только почему бы вам самому им не воспользоваться? Почему бы вам не пояснить своему начальству то самое, что вы предлагаете доказать нашему?

– Вы, сударь, прямой баран – отвечал Козлову Жертва – если не видите разницы. Мое начальство пальцами не потрогаешь. Ему подавай плотную реальную вещь. Сказано «пепел» – подавай пепел. Пепел, а не символ какой-нибудь или логическую лемму. А ваши плоские охломоны вполне удовольствуются дутым домыслом. Ладно. Пойдем на поиски. Проводником будет вот этот праведный иноверец.

Кчсвами встал, и они тронулись в путь.

– Куда же мы теперь идем? – спросил Калганов, едва отступив от горелого поля.

– К сведущим людям – отвечал Жертва Поимки. – К гимнософистам.

### *Из дневника*

*Вот запись, которую сделал Ослов в селении людей-гиен.*

*Жили под дубом семь бабирус. Там издох старый жираф. Тело его превратилось в белый скелет. Бабирусы увидели, и первая говорит:*

*– На чем шея держалась? – На семи позвонках!*

*Вторая ей вторит:*

*– Хватило бы одного на шесть шей, таких как наша.*

*Третья поддакивает:*

*– Бесплезная роскошь.*

*Четвертая туда же:*

*– Вот распределить бы поровну это явно избыточное украшение.*

*Пятая видит по-своему:*

*– Шею длинную имел, оттого и окошел.*

*Шестая:*

*– Голод не тетка!*

*А седьмая смотрит, слушает и обдумывает.*

*– В чем смысл сказки? – спросил я (так пишет Ослов) у информатора.*

*– Она показывает глупость бабирус – объяснил староста.*

*– А в чем их глупость?*

*– Так свиньи же.*

## по голым мудрецам

На пути к стране гимнософистов Кчсвами разволновался. Однажды вечером, когда другие члены экспедиции мирно вкушали пресные хлебы, дикарь устроил им сцену.

Сначала он сделал вид, будто никого не замечает. Закрыл глаза и придал лицу образ вдохновенной мечты. Повернулся к небу, вытянул шею и затрепетал ладонями рук, имея прижатыми к бокам локти. Совсем запрокинулся и издал звук булькающей мелодии. Изобразил пальцами маленький трясущийся хвостик и снова заулюлюкал.

*– Что за пляс? – спросил Ослов у Козлова.*

*– Подождите.*

А Кчсвами повторял движения горлом, крыльями и хвостом, выпевая все более высокую трель и закидывая дальше назад голову. Вот он выгнулся уже настолько, что хохолок встал ниже лапок, а звон глотки излился в точку зенита.

*– Я догадываюсь – сказал Жертва Поимки. – Наш прово-*

дник исполняет «Танец Калахарского Соловья».

Тут Кчсвами резко оборвал трель, рухнул на землю и притворился мертвым, швырнув ногою в пламя костра дюжину пригоршней дикого алоэ. Курево задымилось. Кчсвами лежал как труп.

Потом он отделился от своего мертвого контура и заиграл новую пантомиму: выдвинул мощный хвост широким веером, показал короткие когтистые лапы, расставил и сложил крылья, смазал маслом лысину темени на змеиной голой, опущенной лишь у ключиц шее, вооружился сокрушительным клювом и стал уверенно подбираться к соловьиной тушке.

Точно рассчитанным ударом он вскрыл птахе брюхо от паха до солнечного сплетенья и, сунув голову по ворот вниз от соловьиного пупка, принялся с алчным клекотом пожирать лакомые части. Скоро от бедного соловьишки остались только хрупкие косточки. Но балет продолжался. Лысая голова долбила склет, пока не измельчила обломки в крупу, которая легким холмом завалила чудом еще оставшийся невредимым клювик. Тогда послышалось удовлетворенное урчанье танцора, хриплый взрыд и хлопанье перами.

– Тропический Сип – пояснил вполголоса Жертва Поимки. – Наш язычник изобразил нравы народа, в землю которого мы вступаем.

– Что же теперь будет? – в ужасе спросил Калганов. – Неужели и нам может угрожать такая судьба? Не лучше ли свернуть на другую дорогу?

Козлов и в особенности укушенный Ослов, рана которого еще давала о себе знать, согласно закивали.

– Зачем? – удивился Жертва Поимки. – Вы же не какие-нибудь дрозды. И потом вы не трупы. Они тут по всей округе питаются, знаете, падалью. Вот люди-гиены например. А уж гимнософисты – те в особенности: они пожирают тела мертвых птиц, поэтов. Такая специализация. А вы же не поэты.

– Нет, что вы, какие поэты – брезгливо сказали философы.

– Да будь вы и поэты, пока вы живы, гимнософистам до вас дела нет. А вот труп поэта – это для них, можно сказать, третье блюдо.

– Что же они едят на второе и на первое?

– Так, клюют малость. Галдят. Воруяют друг у друга тухлые яйца. В общем, живут как все.

– А откуда у них это пристрастие?

– От суеверия.

– А сами они откуда? И почему их зовут «гимнософистами»? Ведь «софист» это мудрец, философ...

– Гимнософисты – голые мудрецы. Они повсюду ищут «голой мудрости», откуда и название. Раньше в Европе было сыро. Когда узнали о дикарях из тропических мест, то подивились их здоровью. Вот и переняли у дикарей разные сумасшедшие правила. Как бы то ни было, местную фауну они понимают неплохо, и наш путь лежит через их владенья. Кстати, а вот и пограничный знак.

Действительно, на невысоком деревянном столбике красовался повернутый в обе стороны голый череп носорога. На его костяном лбу виднелись отметины от крепкого тупого орудия.

– За что же они его так? – спросил Калганов.

– Птица-носорог несомненно самая большая из певчих.

– Какой у ней низкий должно быть голос!

– Теперь не сезон. А вот когда приходит пора птенцов, самец-носорог сажает свою возлюбленную в дупло, замазывает отверстие глиной, чтобы торчал один клюв, и она там сидит-распекает, декламирует стихи, пока не высидит потомства. В такие периоды ее бывает занятно послушать. Она очень выразительно заликает про одиночество, что всеми-то она покинута, что самец у ней сволочь, что как она хотела бы быть как все,

что у ней каждое перышко трепещет, что мир устроен подло, ужасно – кошунства так и льются из заделанной дырки. Проглотит змейку или хамелеона, которых отловит ей заботливый супруг и снова – поет, поет. В высшей степени неискренняя птица. Правильно вы сказали: низкий, подлый у нее голос. Вылезет из дупла уже с готовыми цыплятами – грязная, скользкая, вонючая. Чего-то еще недовольно чирикнет – и на охоту: эмансипировалась, теперь уж ей не до песен.

По мере того, как путешественники углублялись в страну голых мыслителей, все чаще попадались остатки их трапез. То тут, то там пейзаж оживляли скелеты и кости на всевозможных стадиях изучения. Скоро под ногами путников закрипела сплошная костяная труха с крошкой писанных текстов. Фауна и флора редели прямо на глазах. Синий тропический лес и зеленая саванна уступили место бесцветной полупустыне. Вдали вздымалась уходящая ввысь башня. По пути там и сям группы насельников возились с очередной стервой.

– Почему их все же называют не «философы», а «софисты»? – настаивал Козлов.

– Наверное потому, что настоящие философы за уроки денег не берут – отозвался Калганов.

– А эти, что ли – берут?

– А кто их знает... Наверное берут...

– Вон какой дворец себе отгрохали – позавидовал Ослов.

Они подошли к воротам. Непрístupные стены города-дворца были из носорожьих роговых выступов, искусно уложенных правильными рядами. Два привратника у входа развлекались игрою в кости. Из-за стены доносился шум многих речей.

Отряд прошел ворота. Каково же было их изумление, когда там не оказалось ни зданий, ни площадей, ни домов, ни базаров, ни фонтанов. На сколько хватало глаз, впереди про-

стиралась серая бумажная почва. Кой-где поодиночке и небольшими группами заседали гимнософисты, хрустя костями дохлых сочинителей.

– Пир на костях. В этом есть что-то татарское – сказал Калганов.

Философы обернулись и увидели все те же уходящие ввысь контуры замка, сложенного из носорожьих клювов. У ворот два гвардейца баловались метанием жребиев. Из-за стены раздавались звуки речи.

– Согласно местным учениям – догадался Ослов – между внешним и внутренним миром нет, наверное, никакой разницы. Поэтому применяется такая своеобразная архитектура.

Они вошли в ворота.

– Вошли как не вошли – печально прокомментировал Козлов.

Опять все та же пустыня гимнософистов, а за спиной охранники мечутся в двадцать одно.

– Нам нужен Левый Страус – сказал Жертва Поимки.

Они вышли из ворот в поисках кого бы спросить.

Тут Козлов быстро заметил одного хиленького гимнософистишку, который сидел и что-то жевал.

– Как пройти к Левому Страусу? – говорит Козлов.

Молчание. Козлов вновь обращается к нему с тем же вопросом. Тот все смотрит мимо пустыми глазами и молчит как маленький. Козлов ему:

– Ты меня слышишь? Тебя спрашивают.

Шевелит мокрыми щеками и – ни словечка. Козлов похлопывает по плечу, по голове, по ушам. Ответа нет. Закрывает глаза ладонью. А он – жует. И вот Козлов в порыве бессилия дает младенцу легкий подзатыльник. Тот дрогнул, глотнул, икнул, подавился и ну орать:

– Где она? Куда она? Что с ней?

– Кто – она? – спрашивает напуганный Козлов.

– Косточка...

– Ах косточка... Да вот же она...

– Нет, это не та...

Не нашли косточку.

– Что ж ты такое сосал?

– Мизинец Г...

Прочие зрелые гимнософисты, хоть и слышали они вопли бедного коллеги, ничем не обнаружили ни жалости, ни сочувствия. Напротив, они злорадствовали. Парочка даже подбежала поближе и стала демонстративно разгребать землю у самых ног пострадавшего, словно и вправду думая поживиться оброненным мизинцем.

– Так можно тут все-таки узнать дорогу к Левому Страусу? – с отвращеньем спросил Калганов.

– Идите туда. Только он не в духе. Сами видите: у нас разложение.

Только наша экспедиция сделала шаг за Носорожьи Врата, как со стороны Козлова раздался писк:

– Не туда!

– Куда – «не туда»? – спросил Ослов.

– Я ничего не сказал.

Снова писк:

– Не туда! Не туда! Не туда!

Все обошли Козлова коротким кругом и не увидели никого. Посмотрели на Кчсвами – ищи. Ведомый трезвым инстинктом дикаря, тот запустил пальцы философу за ворот, затем в складки укороченных брюк, вернулся в карман и извлек оттуда то, что пищало «не туда». Сейчас оно лежало на розовой ладони Кчсвами и пошевеливалось.

– Это что ж такое? – удивились философы.

– Вы даже представить себе не можете, как я рад, слыша родную речь! – пискнуло с руки человека-гиены. – Ведь я и есть тот самый Мизинец Г, которого вы избавили из мокрой па-

сти гимнософиста. Вы идете не туда. Вас обманули. Вам дали неверное направление.

– А ты откуда знаешь? – строго спросил Калганов.

– Вам нужно за ворота налево!

– А что у вас тут за нестроение? – спросил Жертва Поимки, проникшийся сочувствием к говорящему пальцу.

– Да все у нас тут из-за Закона Ираклия – отвечал Мизинец.

– Закон Ираклия? Я никогда и не слыхивал про такой закон...

– Не слыхали про Ираклия... Ну, идите налево.

И Мизинец Г поведал им нижеследующее.

## *Закон Ираклия*

*В старое доброе время жили на свете два царственных поэта и были они двоюродные братья по имени Зеус и Промитий.*

*Был Зеус поэт благородный, возвышенный, складный, а Промитий – горячий, вспльчивый и вредный. Эти свойства поэтических характеров преобладали даже в пейзажах управляемых ими территорий. Зеус правил Фессалией с ее полукруглыми горками и плавными текучими реками, между тем как с забуренных вершин Кавказа, где владычествовал Промитий, самые ничтожные ручейки низвергались опаснейшими водопадами.*

*Однажды Зеус сочинил длинную поэму. В красивых выражениях он воспел в ней весь мир: круг Земли и реку Океан, опоясывающую ее своими мглистыми солеными струями, купол небес и воронку Тартара, чарты и силы созвездий, морские чудеса и прочую гармонию жизни, над которой сам он, Зеус, высоко парит в прозрачном эфире, изредка сверкая*

яркими безвредными зарницами. Написал он эту замечательную поэму многостопными метрами с правильными чередованиями созвучий и пауз, издал в виде роскошной книги и сидит, листает ее довольный.

Вдруг влетает к нему в мраморный покой ласточка с приветом от брата-Промития и прямо на золоченый шрифт, на пурпурную страницу роняет полоску рогожи, а там нацарапана кремневым гвоздем краткая надпись:

*Широко пускает ветры, кто эфиром благоух.*

Зеус несказанно огорчился. Все удовольствие от собственной поэмы у него пропало, сидит и думает – как бы отомстить Промитию.

А как ему отомстишь? Сочинить длинную еще одну поэму-инвективу, что вот Промитий, жалкий провинциал, сидит в своей кавказской дыре и злобствует против цивилизованного владыки, каким ему самому в жизни не стать? Долгое предприятие, а Промитий опять отделается скверными стихами. Или послать ему с лебедем-гонцом кусок мрамора, а на нем высечь крутым рельефом: «сам ты благоух»?

Долго думал Зеус и ни к чему не приходил. Наконец явилась ему одна чистая идея.

Совет он старого гимнософиста по кличке Коршун и шепчет на ухо.

– Ничего нет проще – отвечает Коршун и исчезает.

А Промитий сидит на Кавказской Скале в прекрасном расположении духа, повторяет вполголоса: «кто эфиром благоух» и хохочет как Төрек.

Является к нему Коршун.

– Позвольте проанализировать ваше последнее поэтическое произведение! – и сует клюв прямо в печень Промитию. – Да, налицо, конечно, очевиднейший комплекс.

Тот, услышав гадкую речь, берет Коршуна за загривок и швыряет об отвесную стену. Гимнософист как ни в чем не бывало собирает перья и улетает.

Назавтра опять является.

– Продолжим анализ – и снова клювом в брюшную полость. – Итак, вы говорите: «эфиром». Да-да, прозрачный симплекс.

Промитий его снова об скалу. Но Коршун упрямо является каждое утро:

– Новенького ничего не написали? Ясно. У нас творческая пауза... Продолжим анализ – и клювом куда пониже. – Значит вы говорите: «пускает»... В высшей степени эротично.

Через пару лет коршуновых домогательств Промитий окончательно вышел из себя. О стихах уже и речи нет. Какие стихи, когда только и вертится в голове: «сложнейший симплекс – простейший комплекс» да разные похабные слова на ученом фригийском наречии. Решил он пуститься на хитрость.

Только явился Коршун, Промитий хватя его за клюв и орет:

– Продолжим наш анализ!

Коршун оторопел. Тогда Промитий, пользуясь его замешательством, задает следующий вопрос: «Как у нас с этим делом?» а сам бежит к вершине горы Эльбрус, где у него располагалось отхожее место, и швыряет терапевта в кратер, успевши крикнуть вслед:

– Живописью не увлекались?

Сидит Коршун весь в дерьме и кукует.

Шел мимо Ираклий.

А этот Ираклий был грозой тогдашних творческих сил. Еще в пеленках придушил он парочку ядовитых критиков. Когда его стали учить играть на скрипке, тонуому Ираклию так не понравился этот противоестественный инструмент, что он засадил его грифом в зад педагогу, и тот волей-неволей

вынужден был выйти в виртуозы. Достигнув зрелых лет, он сумел разоблачить одетого в каменную шкуру Льва, от гордыни разбухшего до таких невероятных размеров, что никто к нему не мог даже приблизиться. Потом Ираклий разгромил редакцию болотной газетенки «Лернейская Гидра», победил в стихотворном соревновании безостановочную поэтессу Кирену Ланскую, расчистил ломовой архив, ввел в употребление металлические орудия письма и сумел выщарапать гонорар с атлантического издательства «Вечерняя Заря», чего ни до, ни после никому никогда не удавалось.

Так вот этот самый Ираклий шел теперь мимо кратера горы Эльбрус и услышал звуки бедствующего Коршуна.

– Эй, Коршун, что ты там делаешь?

– Беру урок живописи по указу местных властей. Да вот немного увяз в материале.

– Что ж это Промитий послал тебя в такую грязную академию?

– Каприз деспота...

– Так ты вылезти желаешь или намерен продолжить штудии?

– Пожалуй хватит – отвечает гимнософист. – Брось мне какое-нибудь плавучее средство, а к берегу я уж сам подгребу.

– Плавучее... – задумался Ираклий. – Колесо Фортуны – так ведь оно тут сразу потонет, хотя и из пробки... Надо что-то совсем полое... Эй, лови! – и бросил ему Рог Изобилия.

Коршун вцепился клювом и, кой-как работая крыльями, успел добраться до берега. Хочет вернуть Рог Ираклию.

– Клянусь Тартаром, такой вони я даже на том свете не слышал! Оставь. Оставь у себя.

Так и остался Рог Изобилия в пользовании у гимнософистов.

А Ираклий, разузнав как все было, объявил закон,

*чтобы впоедь гимнософисты к поэтам не приближались.*

*Случился вскоре пир у Зеуса, и пришли туда Промитий с Ираклием. Вспомнили они эту историю и все трое гомерически хохотали над злополучным Коршуном. А потом Зеус говорит:*

*– Знаешь, Промитий, я ведь и сам хотел от него избавиться. До чего же он мне надоел своими исследованиями! А что ты с ним справишься, так в этом я не сомневался.*

*И все трое опять долго хохотали.*

*Хохотали они, хохотали, пока не услышали из выносного нужника протестующий коршунов голос:*

*– Вам веселье, а честному ученому изучать нечего!*

*Зеус тогда ему в ответ:*

*– Мертвых, мертвых иди изучай! – он-то знал, что поэты мертвыми не бывают.*

*С тех пор гимнософисты все возятся с трупами сочинителей, и писания их сыплотся как из Рога Изобилия.*

*А еще Зеус сказал напоследок:*

*– Вот теперь у меня тут действительно царит полная гармония.*

## Прение по Ираклиеву Закону

– Как вы могли заметить – продолжал Мизинец Г – в противоположность платоновской собаке, которая разгрызает кость, дабы добыть мозг, гимнософисты, можно сказать, грызут мозг с тем, чтобы извлечь из него кости. За это их и называют не как платоновскую собаку – философами, но софистами, а чтоб было еще понятнее – гимнософистами. Закон Ираклия к тому и был направлен, чтобы оградить поэтов от тлетворной порчи прижизненного анализа и сопутствующего разложения.

Пока поэтов было всего ничего – Зеус, Промитий, Кирена Ланская и еще два-три меж варваров, закон был тверд и действовал четко. Однако по мере удаления от точки, где он возник, очертания его стали расплываться, и вина тут лежит уж никак не на гимнософистах, а на нас самих.

– На ком это – на нас? – зло спросил Калганов.

– На нас, поэтах...

– А на каком основании ты считаешь себя поэтом? Если ты всего лишь кость, тщеславиться тебе не пристало.

– Увы – отвечал Мизинец Г – это одно из немногих недоразумений, имевших место за всю историю нашего ремесла. Закон же Ираклия очень скоро пришлось дополнить.

Пока поэтов было немного, костей было еще меньше, и с делами легко управлялся Коршун и пара его помощников, которые неукоснительно следовали высшему установлению. При крайней умеренности состава пищи и дряблости иных страстей, их жизнь надолго растянулась. Сменилось уже шесть поколений поэтов, а Коршун только старел, но не умирал. С каждым десятилетием его лицо, изрытое потоками времени, становилось значительнее и высокомернее. Изредка он, закатив потухшие глаза, изрекал что-нибудь вроде:

– Трагедия, которую я пережил на Эльбрусе... – и кругом воцарялось почтительное молчание.

Дистанция между ним и живыми поэтами не только не сокращалась, но даже делалась шире. Чуть завидев вдали разболтанную фигурку двоякодышащего творца имен, Коршун воздевал повыше клюв с косточкой и хрипло клекотал:

– Вот он, восьмой шейный позвонок поэта Промития, создателя образа эфирного благоуха в образцово компактном классическом однострочии. Я знал гения лично и могу засвидетельствовать.

Но постепенно среди поэтов сложилось заблуждение, что Закон Ираклия не про них писан. Они полезли пресмыкаться

ся поближе к гимнософистам в надежде обрести высокий статус гения путями личных знакомств. Гимнософисты, руководствуясь отчасти правилом, отчасти здоровым социальным инстинктом, старались избегать подобных сближений. Тем не менее, то тут, то там возникали взаимные неудовольствия, скандалы и драки. Тогда было предложено дополнить Закон Ираклия следующим параграфом: «... также и поэтам к ним не ходить».

Поправка могла бы помочь, но не надолго. Поэты постоянно нарушали Закон, унижались, теряли достоинство. Иные из зависти сами принимались долбить в голову своих мертвых товарищей по ремеслу, а там накидывались и на живых современников. Когда их пытались унять юридическим доводом, они вдруг вздымались на задние ноги:

– Я же поэт, черт побери!

К счастью, ни работоспособностью, ни эрудицией длинных гимнософистов они не обладали и до костей не добивались. Однако то были дурные примеры. Ленивые гимнософисты помоложе тоже взялись за стихоплетство. Владея волшебным Рогом Изобилия, они скоро наполнили ойкумену посредственной рифмованной дрянью, а так как сила профессиональных связей давала этим мнимым величинам заведомое преимущество, поэтам оставалось только цепляться за Колесо Фортуны, которое исправно возносило тех, кому поистине везло.

Учащались случаи мимикрии, и двигались процессы смешения. Количество дел о нарушении Закона Ираклия росло стремительно: суды были завалены жалобами до крыш. Иной поэт успевал трижды откинуть лапти, прежде чем решался его случай, и нарушитель-гимнософист выходил сухим из воды, продолжая рыться в паху пострадавшей стороны уже на прочном легальном основании.

Страдали, однако, не одни поэты. По мере того, как гимнософисты размножались, их пища теряла в добром каче-

стве: костная ткань распадалась при первом касании клюва. В ученом сословии роптали, и так шли дела, пока на горизонте не возник Левый Страус.

Он начал с простой и трезвой оценки:

– У нас – говорил Левый Страус – имеются следующие явные оппозиции: «живое – труп» и «петь – клевать». По букве и по духу Закона Ираклия «живое» должно «петь», а «труп» должно «клевать». Из чего непосредственно вытекают две функциональные дефиниции: «поэт» есть «живое, поющее» и (вторая): «софист» есть «труп клюющее». Наши беды и смуты происходят от чисто функционального (не-субстанциального) характера этих дефиниций. Формально, их можно было бы просто замкнуть, сказав: «поэт есть живое поющее (то есть воспевающее) труп клюющее» и велеть им воспеть софистов. Но мы, гимнософисты, так и остаемся «труп клюющее», потому что добавка «живого поющего труп – клюющее» ничего не добавляет. Отчего ж такая асимметрия? Оттого, что в одном случае принимается веткор питания, а в другом – выделения: не зря же засунул Промитий Коршуна в нашу эмблему. Поэты пожирают чистый эфир, подобно растениям, вбирающим в себя свет и воздух. И также подобно деревьям, травам и кустам, выделяющим плоды в виде косточек, зерен и орехов, поэты постоянно отделяют от себя свой ритмический труп в окостенелом виде. Мы же, как высшие типы живого, составляем в данной схеме ее верхний трофический этаж и творчески потребляем то, что бездумно скопили они. Нельзя поэтому чего-либо желать от поэтов, нельзя от них требовать. Это нам, а не им предстоит измениться и найти пути расширить сферу потребления.

Так говорил Левый Страус, обосновывая необходимость пересмотреть все генеральные концепции. Он ставил на вид, что под «трупами поэтов» следует разуметь их ежедневные цементные отправления, которые должно стать можно

теперь клевать хоть завтра, сохраняя верность Ираклию, но радикально изменив смысл его установки.

«Мы должны забыть о поэте ради поэзии, изучать не конкретные кости, а обобщенный ритмический продукт» – таков был вывод Левого Страуса.

Община голых мыслителей океанской волной хлынула в широко распахнутые ворота шлюза. Возникла буря и смятение. Ключья пены взлетели до небес. Опоры земли поколебались.

– Но когда взошло Солнце, новый пейзаж оказался каким-то водянистым и жидким – все продолжал Мизинец Г. – Отсюда нестроенье, отсюда недовольство. А вот перед вами и Левый Страус.

Тут левый дракон Доржиева дунул в череп его печенежской пиалы, и пленка влаги подернулась легким дымом.

## Ворона

Дымок разогнали вороны.

Когда поверхность чаши вновь стала прозрачной, Онг Удержу Ветер, а с ним и наши охотники убедились, что то, что они принимали за Левого Страуса, был столп, пыльный смерч. Сам Страус находился значительно ниже, внутри осыпающейся искусственной воронки, которую он сам для себя вырыл усилиями рук, ног, крыла, хвоста и пера.

– Пропп, пропп – доносилось из воронки. – Пропп! Я ничего не пропповедую! Все это проппаганда! Да проппадите вы проппадом!

– Чего это он все «пропп» да «пропп»? – спросил шепотом простодушный Козлов.

– Я ему все расскажу! – каркнула одна из ворон.

– А ты кто такая? – спросил Жертва Поимки, обративший внимание на неестественно белую окраску левого крыла

вещей птицы.

– Я Ворона Виденнега из Страны Ошипеев – отвечал Ворона эпическим слогом.

– А тут в какой должности?

– Для вас я Контрапункт! – каркнул Виденнега.

– Разве это профессия – «контрапункт»? – каркнул Жертва Поимки.

– Не передразнивать! Страусу передам!

– Наверное ты секретарь...

– Секретарь?! Сам ты змееглот! Кукебурре! Марабутый ибис! – ругался Ворона. – Щелкопер проклятый! Говори, ты с проблемой? Все равно все передам! Каркать сюда пришел! Я тебе покажу, какая я секретарь!

Увидев, что Ворона и их спутник вот-вот войдут в проблему, Калганов решил вмешаться.

– Товарищ Контрапункт, у нас тут две проблемы. Нельзя ли пропустить к Ливийскому Страусу?

– Спрошу – смягчилась Виденнега и улетел в воронку.

А оттуда все скрипело: «пропп», «пропп»...

– Ничего не понимаю – признался Жертва Поимки. – Секретарь и секретарь. Чего оно раскаркалось?

– Нечасто вы признаетесь – сказал Калганов. – Обидели такую редкостную особь. Он же Ворона, а не Секретарь. Секретари едят живых змей и выступают в чисто мужском змееборческом качестве. А этот Ворона – гермафродит. Нужно было ему под хвост заглянуть, а потом спрашивать.

– Из чего вы сумели это заключить?

– Из того, что он обозвал вас змееглотом. А змееглот – это и есть типичный секретарь. У нас на родине, когда ввели национальный язык, всех секретарей переименовали в змееглотов. Так и говорили – «заглавный змееглот». Но вы не обижайтесь: брань на восточном восточном не виснет.

– Я не обижаюсь – обиделся Жертва Поимки. – В моей

Книге ничего не сказано про эту секретарь. Может она и ест змей вопреки Закону о чистых и нечистых. С точки зрения Закона, она вообще не существует. Во-вторых я полагал, что она женского рода, как «тварь» – «секретарь». И вообще я имел в виду не птицу-секретарь, а профессию, ту, которая по-испански называется «эскрибано», с пером и чернильницей. Отсюда, я полагаю, происходит ваша поговорка: «скребет пером» или «скрипит», в значении «пишет».

– Пропп, пропп... – скрипело тем временем из воронки.

– И если я начну заглядывать, как вы выразились, «под хвост» каждой секретари, меня очень скоро перестанут пускать в животноводческие учреждения, где я мог бы навести справки про красную телку, а это пагубным образом отразится на эффективности моих поисков, не говоря уже об общественном положении. Так что никому я под хвост заглядывать не намерен! Гермафродит – не такое уж распространенное явление, чтобы я стал отступать из-за него от выверенных веками правил. Я точно знаю, как себя вести при виде урода: нужно возблагодарить Бога сказав: «Благословен Господь, который придал Своим тварям столь яркое разнообразие» – в том случае, если это как бы игра природы. Если же она – тварь или секретарь – стала гермафродитом в силу несчастной случайности, довольно будет воздать Ему краткую хвалу, сказав: «Благословен Господь, судья праведный».

– Что же вы скажете, когда вернется Ворона?

Жертва Поимки задумался. С одной стороны, неврастеческое поведение Виденнеги Ошипевейской указывало на жертву несчастного случая. Тому, однако, противоречила невозможность вообразить какого рода несчастье могло бы послужить причиной столь изысканного увечья у птицы. С другой стороны, Жертва Поимки был все же человеком нового времени, и ему закралась в голову мысль о добровольной пластической операции. А оказись оно так, Контрапункт немедленно

и неизбежно становился мерзким содомитом, заслуживающим только проклятий. Но Закон велел благословлять, а не проклинать. Наконец, спуститься в область низшей эмпирии и заглянуть Контрапункту под хвост, к чему и призывал своим вопросом российский философ, стыдливый искатель красной телки отказывался заранее и наотрез.

По всем этим причинам, когда в небе вновь появился белокрылая Ворона, он хранил полное молчание.

## СЫТИН И АВЕЛЬ

– Видите – комментировал Авель – человек ищет ответа в Книге, а его там нет, и Жертва Поимки не знает что делать. Он молчит. Вы спросите: а как я поступил бы на его месте? Постараюсь ответить. На месте этого праведника я приложил бы все силы, чтобы избежать трения с секретарью. Секретарша, шофер и водитель судна...

Тут вошел космонавт Сытин и молча уселся.

– ... водитель, секретарь и пилот корабля – продолжал Авель – священные особы общества. Только самые закоренелые неудачники ссорятся с ними – с теми, от кого все зависит. Эти ссоры и суть причины их вечных неудач: судно не плавает, автомобиль не едет никуда, нужные бумаги лежат под сукном. На его месте я даже не произнес бы слова «секретарь». Всегда может статься, что она желает, чтобы ее именовали «референт» или, вот, как оно и было – «контрапункт». Прежде всего нужно было узнать у Вороны...

На этом месте Авель сообразил, что космонавту ничего не известно о приключениях искателей квагги, и сделал паузу, которую Сытин нарушил следующим сообщением:

- Я к вам с вопросом.
- Я вас слушаю, космонавт.
- В отношении стихов. – Сытин призадумался, чтобы поумнее сформулировать вопрос, а потом вдруг сказал:
  - Вы тут про ворону рассуждали.
  - Да.
  - А вот ответьте мне тогда, все ли на свете имеет смысл?
  - Я думаю что все, в том смысле, что если отнять от всего нечто, в остатке будет ощущаться недостача отнятого, которая и выявляет его смысл. Но почему вы не спросили товарищей по кафедре?
  - Спрашивал. Они посоветовали взять семинар по проблеме значений. Потом изучать смыслы. А у меня простой вопрос.
    - Что за вопрос?
    - Откуда берутся бессмысленные стишки?
    - Откуда вы знаете, что бессмысленные?
    - Ну как вам сказать... – Сытин поскущел. – Знаете, это же само собой... Идешь, бывает, на астрожабле...
      - В чем же дело?
      - Идешь себе на астрожабле...
      - Идешь?
      - Да, у нас так принято. Идешь себе...
      - На чем?
      - На астрожабле...

## Новый Енох

- Что такое астрожабль? – спросил Авель космонавта Сытина.
  - Тип корабля.
  - На каком принципе?

– Активный вакуум. Оболочка из халалита заполняется пространством, в котором не содержится ничего, кроме виртуальных квантов. Сзади пара скотопеллеров, но это только для поворотов. Летит со скоростью световой год в год. Чуть меньше. На нем ходят к ближайшим звездам.

– А как летают в другие галактики?

– На небулоптерах.

– А как выглядит спейсдрилл?

Космонавт Сытин заметно оживился.

– Это их потом так стали называть. А я-то ведь совершил тогда, еще до революции, полет на самой первой модели. Первый серетный вылет. Проект Октавия.

– Что это был за проект?

Сытин помолчал, что-то обдумал и ответил после недолгих колебаний:

– Да, уже можно рассказать. Срок секретности вышел. Будете слушать?

– Естественно.

– Это было – начал свой рассказ космонавт Сытин – в 19.. году. Вызывает меня генерал. «Особое задание». У нас других не бывает. Ничего не думаю, иду к генералу. Вижу: генерал, да не тот, не обычный мой генерал, а новый, неизвестный, на две звезды выше.

– Сытин – говорит – особое поручение, испытательный полет и секретная миссия. Операция опасная, требует некоторых ... качеств. Главное – строго следуйте инструкции и не фантазируйте. Вы поняли, космонавт? *Не фантазируйте*. Не думайте ни о чем постороннем, только о корабле и о задании. Имеются веские основания полагать, что ваш предшественник не вернулся из-за разыгравшегося воображения. Мы учли ошибку, и теперь выбор пал на вас. Итак, вы поняли? – Ничего лишнего в голове. Идите и получите технические инструкции. Пакет вам вручат перед стартом.

Иду на технический инструктаж. Объясняет специалист. В очках, в белом халате, лоб, лицо с синевой.

– Я главный конструктор. Имя у корабля необычное, взято из английского языка, обусловлено характером задания: Man Drill, означает «человек-сверло». Вы будете сверлить космос насквозь. Скорость практически неограниченная.

О – думаю – перешли световой порог!

– Да-да. Световой порог. Мы воспользовались тем, что трехмерное пространство свернуто в пятилепестные розетки. Вы будете пересекать границы в точках контакта, а не обходить их по гравитационным траекториям, иначе ваше путешествие растянулось бы на миллионы лет. Вот двухмерная карта. Войдете в черный коридор, линейный аналог черной дыры, и следуйте по маршруту. Вы видите, розетки уложены по граням куба, всех кубов двенадцать. Они ориентированы по зодиакальным секторам эклиптики. Каждый из них, в силу свойств четырехмерного континуума, в свою очередь, соединен с одним из пяти лепестков розетки второго порядка. Итак, ваш кратчайший маршрут – 365 особых точек. В этих точках могут действовать нетривиальные типы сознания, вы должны быть внимательны и сосредоточены. Думайте только о корабле и о задании. Вот положения рычагов для каждой точки. Когда пройдете эту часть пути, окажетесь в области, которую мы называем Небо Септимии. Отсюда – свободный полет. Ни к чему не прикасайтесь. На Небе Октавии – автоматическая посадка. Затем – строгойше следуйте инструкции, касающейся вашей особой миссии и немедленно возвращайтесь. Помните: вы должны вернуться во что бы то ни стало. Что бы ни случилось, вы не должны там оставаться. Возвращайтесь.

Сухо так они меня инструктировали. Но – у нас вопросов не задают. Пошел, получил секретный пакет, и надо вылетать. Являюсь в Центр. Тот же главный конструктор сажает меня в небольшой аппарат, в свой Man Drill. А кора-

блик прозрачный, такой прозрачный, что самого себя в нем не видишь. Объясняет:

– Вещество не должно отражать квантов, иначе вам не перейти особую точку.

Пробую рычаги.

– Почему форма такая? – и слышу в ответ странные слова:

– Строго говоря, ни у чего тут вообще нет формы...

Я обернулся и смотрю на него: Как понять? А он:

– Это несущественно, Сытин. Ваше дело – следовать по маршруту. Вы помните: в начале – черный коридор. Старт!!!

– Старт! – отвечаю. В начале – черный коридор, в конце – красный помидор... – а мой губошлеп взволнован, перепуган, чего-то машет руками, но поздно, я уже дернул пусковую оттяжку и въезжаю в черную щель.

Лечу. Прошел все петли, перепорхнул как мотылек с розочки на розетку. Никаких особых форм сознания, только хорошо, легко. Дошел по кубам до розетки второго порядка... И чувствую, что я все-все знаю, ну вот буквально все, все понимаю, все помню... Вспомнил даже родные места, озеро на пригорке, первую учительницу старенькую мою... Но нет, надо думать о корабле: Ман-Дрилл, Ман-Дрилл... О задании: Задание, зад-ани-е... Сосредотачиваюсь по правилам психотехники. И лечу, лечу...

Пролетаю Небо Септимии и вижу под собой Октавию, изумрудную равнину. Ниже, ниже и вот уже скачу мягким лугом по направлению к недалекой деревушке и сижу при этом верхом на большой обезьяне. А у обезьяны собачья морда, только вся синяя, и задница пунцовая, голая, облезлая, как у верхоянского алкаша. Однако пакет – в руках.

Читаю снаружи надпись: «Выполняйте задание. Сорвите конверт». Срываю. Там другой конверт с такой же надписью. Срываю. Новая надпись: «Выполняйте задание. Прочитать

содержимое первому мыслящему обитателю Неба Октавии». Ну да. Мыслящему. Не этому же павиану.

Скачка продолжается. Но мы уже у деревни. Перед избой сидит старушка в белом платочке и разговаривает сама с собой:

– Смотри, Наумовна, человек на мандриле скачет.

И сама же себе отвечает:

– Верно, Василидовна, и дело у них к нам не иначе как мандрилье. Стой же! Стой! Куда несешься!

Синерылый мой встал как вкопанный.

– Здравствуйте – говорю – бабушка... – а сам сдираю очередной конверт и читаю: ... «Валентина Васильевна Пистис! Что это за селение?»

– А Огдоады – отвечает бабуся. – Да ты слезай-то с мандрила. Пусть погуляет.

Я опять краем глаза в инструкцию: «Выполняйте задание» и спешиваюсь. Животное, почуяв свободу, задирает хвост и лезет на соседнее дерево, сплошь в хурме.

– Лакомка – смеется Валентина Васильевна. – Только я не Васильевна, а Василидовна. Ну, зови как хочешь. Хоть Софьей Наумовной. Ты с каким делом?

Читаю ей вслух все по заданию, сам ничего не понимаю.

*«Согласно действующему постановлению демиурга Гептемера плодились, размножались и наполняли. Наполнив, однако, размножаться уже не можем. Плодимся. Просим отменить постановление как устарелое. Связи не осуществляем из-за отсутствия специалистов. Ждем дальнейших указаний.»*

*Подпись: Архонты Обратной Шестерки.*

*Приложение: Демографические таблицы и диаграммы.  
(Вручить)*

Вручаю таблицы и диаграммы. Бабушка их отложила в сторону и говорит:

– Ишь, бабуины! Плодятся хотят, размножаться не могут. Знала ведь, что дело у тебя мандрилье. Который давеча прилетал, так все за чертей заступался: Химия, промышленность, живая природа, звездное небо. Вот и доразмножились. Звезды-то – они ж тоже тварь, а не плодятся, висят вниз головой как ангелы, наполняют небо...

Ладно, я им напишу. А ты покличь пока мандрила.

Иду за мандрилом. Тот увидел меня, засел повыше и там чавкает.

– Слезай, мандрил, домой пора!

А он зубы скалит, клыками щелкает, повизгивает, хрюкает и давай швырять в меня этой – не хурмой, издали показалось, что хурма – помидорами. Метко, собака, бросает, ни разу не промахнулся, пару раз в голову закатал. Я ему:

– Мандрил! Мандрилушка! Мандрюша! Кончай, хватит, поехали – долго орал.

Слышу, бабуся сзади:

– Ты что – американец?

Я даже вздрогнул.

– Какой американец?! Русский...

– Чего ж ты его по-американски? Ты его по-русски зови.

Думаю – старая, а неловко при ней-то по-русски.

– Да ничего, не стесняйся, он пойдет, зови, зови по-русски. Эх он тебя разукрасил. Зови!

Пока я с ней – новый помидор, перезрелый, в пол-арбуза, мне прямо с размаху и по губам. Не до церемоний.

– Ах ты сука! Морда твоя собачья! Слезай, ржавое сверло!

И – чудо! Мандрил скатывается с верхушки к моим ногам и преобразуется в прежний аппарат. Вижу знакомые

рычаги и усаживаюсь.

– Вот письмо – говорит старушка. – Жить вам с крапленным, с меченым. Вспоминать Архангела Иерихонского... А то, может, останешься?

– Не могу, Софья Наумовна.

– Тогда передай там на словах своим обормотам, чтоб пили поменьше. А теперь дуй отсюда!

Лечу назад сквозь космическую резеду. Не заметил, как вот она, Земля! С грохотом, с каким-то хлюпаньем и плеском вламываюсь в точку завершения полета, в Центр, в зал заседаний.

– Задание ... выполнено! – и оглядываюсь по сторонам.

Сидят. Мой генерал, рядом двойной или тройной генерал, ученые, конструктор в белом халате. А посередине – эти хрычи, чучела с сифонами, капельницами и электропроводкой. Самые архонты.

Вручаю письмо шестерке. Читают, задают вопросы.

– Не приходилось ли вам сталкиваться с непредвиденными ситуациями? – и только теперь замечаю, что все они обрызганы томатной пастой: у кого пара пятен, у кого струйка через лысину, а я, космонавт Сытин, так просто с ног до головы: помидоры-то он там жрал... История не для начальства. Но нужно что-то отвечать. Не хотелось мне, конечно, подводить и конструктора.

– В течение полета корабля Ман Дрилл все системы работали безукоризненно. И лишь в завершающей стадии, уже на местной почве Октавии... – губошлеп вздохнул с облегчением – ... космический аппарат без видимых причин преобразовался в дикую собакоголовую обезьяну породы «мандрил».

Конструктор схватился за голову.

– Это то, чего я пытался избежать! Я для того и дал иностранное название, чтобы у летчика не возникало косвенных ассоциаций! Там же все мысли мгновенно оформляются! Пилот

ни при чем. Кто мог подозревать, что существуют подобные твари?!

Теперь и я понял, почему генерал не хотел посылать на задание фантазера.

– А это? – спрашивает один с трубкой, и тянет палец к моему опозоренному скафандру.

– Это помидоры – (ловлю насмешливый взгляд белого халата, который тоже вспомнил как видно левый стишок про коридоры и помидоры при старте) – Это помидоры, которые ел мандрил, срывая их с дерева, растущего у дома сельской учительницы-пенсионерки Валентины Василидовны Пистис Софии Наумовны, жительницы деревни Огдоады...

Отчитался.

Вот так они и выглядят эти корабли. Только мандрилами их уже не называют.

– А про обормотов вы тоже доложили архонтам? – спросил весело Авель.

– Я своих ребят, конечно, предупредил, чтобы не очень закладывали – возразил космонавт Сытин, глянув на Авеля исподлобья.

## *Мысли Ту о полетах во сне*

*Существует птица с семью ногами, способная летать при помощи бороды.*

*Чтобы не упасть, ей приходится сильно поджимать лапы, иначе она может задеть вершины. На земле эта птица стоит, опираясь на хвост, но спит только в воздухе.*

*Когда пробуждается гора, в небо летят раскаленные камни. Гора ведет себя иначе, чем птица, которая спит, когда летает. Гора спит, когда над не не летают. Если бы гора была птицей, мы говорили бы, следя за полетом раскаленных*

камней: «Она уснула».

У бородатой птицы есть причина бодрствовать на земле: ее могут застать врасплох. А кто может что сделать горе? Поэтому она спит внизу и бодрствует, когда извергается.

Гора отлична от птицы.

Небо вечно спит.

Иногда там появляются бородастые звезды. Мы думаем: «В этом году умрет князь». Таковы сонные виденья неба: ему снится, что умрет князь, и князь умирает. На наше счастье, этот сон глубок, бородастые прилетают лишь изредка. Проснись небо, и погибнет в огне земля.

Небо гораздо дальше от совершенства, чем земля. Его обычные звезды крайне медленно меняют рисунок. Оно вдыхает и выдыхает раз в году, спит и старится.

Неподвижность не является совершенством. Также и правильные движения не носят в себе черт возвышенного: движение по кругу, квадрату или треугольнику. Еще менее – ход прямой черты или топтанье на месте.

Высочайшая из северных звезд внутри себя – самая низкая, но прочие – значительно хуже. Некоторые звезды из числа блуждающих, возможно, имеют признаки жизни, но вряд ли и им свойственны внутреннее строение и толщина. Правящие ими драконы удручающе просты в силу простой необходимости.

К луне это не относится.

Звезды правят всем, но только не самими собой. Полагаю, что они тупы. Даже если думать, что они что-то собой представляют помимо точек рисунка, их собственное и рисунок никак между собой не вяжутся. Говорить и думать о звездном полете поэтому бессмысленно. Как и о полете к звездам. Это все равно, что лететь к точкам на бумаге.

Иное дело – летучие рыбы или птицы.

*Съешь летучую рыбу – избавишься от слабоумия.*

## случайная встреча

Космонавт Сытин столкнулся нос к носу с Тарбагатаем в силу совершенно случайного стечения обстоятельств.

Тарбагатай как во сне вылез из вагона на одном из восьми вокзальных строений столицы и двинулся искать справочное бюро.

Между тем космонавт Сытин ходил на вокзал вовсе не с тем, чтобы кого-нибудь там встретить. Мы уже знаем, что поставленные надзирать за философами ветераны космоса относились к своим обязанностям с оскорбительным пренебрежением. Бывало, иной доктор наук бегаёт за цензором-практиком как собачонка:

– Сергей Иванович, будьте так любезны, просмотрите же вы, наконец, мои тезисы.

А тот и в ус не дуёт. Мало ли какую чепуху можно нагородить про космос в тезисах. Вроде, например: «Искривляя луч современности, мы приблизимся из будущего вперед к точке собственного рожденья со стороны времени отцов и пересечем траекторию». Откуда следует второй тезис: «Если эту операцию повторить многократно, не встанет ли вопрос о ее влиянии на самое траекторию?» Ну какой уважающий себя космонавт, который, можно сказать, пуп себе стер о всевозможные траектории, станет в это вникать? Вот он и молчит. Под конец плюнет, надуется как индюк и подмахнет, не читая.

Но космонавт Сытин был из другого теста. Он читал все подряд про траектории с огромным вниманием. Будучи сам лишен фантазии, он умел ценить ее в других. Поэтому в голове

у Сытина вечно вертелось какое-нибудь двустороннее, которое он иногда изрыгал в виде резолюции на запрашиваемый тезис. Передавали со слов Продвинутого Студента, что на траекторию про «точку дальнего возврата» он наложил что-то вроде:

От ворот поворот за порог и обратно.

В издательстве потом две недели ломали голову, как этот эдикт понимать: как отвергающий или напротив, а это был просто лаконический реферат, вроде эпиграфа.

Утомленный интеллектуальным свершением космонавт Сытин шел на вокзал пить пиво.

Вот и в то утро, когда прибывший в столицу Тарбагатай искал в вокзальном зале окошечко для справок, космонавт Сытин явился сюда же со своим делом.

Дальнейший ход событий имеет экономическую подкладку.

Когда после дохлого обновления власти осознали необходимость внедрения информации в быт, первым делом решили обеспечить транспортные узлы. Поэтому, среди прочих мигалок, наша делегация закупила за океаном огромный электронный ларек. У себя на родине ларек действовал лет двадцать назад на праздничной ярмарке, и теперь его продавали по бросовой цене. Прельстясь дешевизной, отжившее чудо техники привезли в Москву и установили в центре вокзала. Это было внушительное цилиндрическое сооружение, все в кнопках, светящихся окошечках, разноцветных списках чего там есть и металлических патрубках для выделения браг и брашен.

Взбесившееся от гнилых избытков постиндустриальное общество потребления предлагало одного только сока из морошки семь видов, да еще пару пюре из той же ягоды: брашна давали полужидкие. Изнутри всем правил электронный мозг, запроектированный с заморским размахом. Оперативной памяти

там хватило бы на университет.

Разумеется, наше сельское хозяйство, которого собирательская отрасль переживала экологический упадок, могло предоставить вокзальной братии значительно более узкие ассортименты. В частном случае морошки, видов сока было только три. Значит память компьютера у нас неэффективно пустовала, цветные кнопки стояли потухшие, хобота выдачи несуществующих благ обрастали паутиной.

Тогда придумали превратить бездействующую часть ларька в адресный стол. Этому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, ларек не умел обращаться с бумажными справками, и первые опыты давали адреса в виде целлюлозной пульпы. Вторую проблему представляла встроенная ему в мозг программа лотереи. Вопрос о бумаге был решен просто. К справочному бюро приделали разбрызгивающий автомат, который по указанию электронных команд наносил нужные цифры и факты на внутреннюю поверхность прозрачного стаканчика из пластмассы. В таких же стаканчиках ларек выделял желающим напитки и съедобные пасты. Получив стаканчик, клиент должен был глядеть в него на просвет и узнавать адрес. Но с лотереей дело пошло сложнее. В техническом описании она никак не фигурировала, на нее натолкнулись случайно, у ней был отчетливый ярмарочный привкус.

Это была принудительная лотерея. Каждый акт выдачи фиксировался памятью мозга и приобретал действующий номер. Затем ларек проделывал некие операции с номерами, и счастливцев получал шестикратное кормление. Об этой программе сначала не знали. Просто заметили факт недостачи, последили за клиентурой и нашли, что посетитель, например, вместо порции бульона из воблы получает шесть арбузных напитков. В атмосфере праздничного гулянья это наверное было бы забавно, но в наших суровых условиях выглядело как пустое баловство. Шестикратные выдачи упразднили. В исполнитель-

ные агенты мозга впаяли петлю, которая меняла полдюжины на единицу. А поскольку выигрыш падал сравнительно редко, не было большой беды в том, что потребитель, мечтавший о тертой рябине получал взамен сырковый кисель или березовый сбитень.

Так и работал этот прекрасный ларек, и никто не подозревал о затаившемся в нем новом коварстве.

Это было уже конечно событие со сверхредкой вероятностью. Система случайностей, заложенная в полупроводниковый рассудок агрегата, имела еще один этаж, и когда выигрывали двое сразу, выигрыш также удваивался, и никакая петля тут не могла воспрепятствовать выдаче по дюжине призов обоим потребителям.

Сытин и Тарбагатай подошли к ларьку с двух сторон, вынули по двадцать копеек и опустили их в щель. Тарбагатай просил адрес университета, Сытин – свое ячменное шампанское. Оба выиграли. Мозг ларька дал их запросам числа, сложил их, перемножил, подверг вероятностному разбросу, собрал назад, перевернул и с приказом, который в переводе с машинного языка на русский звучит: «обоим по дюжине!» направил все вместе сервоагентам. Исполнительные органы задвигались. Они отсчитали дюжину стаканчиков для адресов. На пиво стаканов не было. Из-за петли с шестеркой критический запас прозрачной пицетары упал в ларьке с 62-х как раз до 12-ти штук.

Космонавт Сытин не успел даже ничего подумать о тех двенадцати стаканах с адресом университета, которые посыпались ему в подол, как услышал вой сирены и рокот пенной струи. Ларек весь замигал, защелкал, громыхающими своими огнями давая знать персоналу, что пора добавить тары. А пена била Тарбагатаю в лицо из пивного хобота.

Вокзал всегда чем-то напоминал космонавту Сытину космодром. Теперь же – в особенности, когда разъяренная торговая точка лютовала как небулоптер при запуске. Сытин

сунулся в донца полученных инструкций. Там промелькнуло: «университет», а затем появилась мокрая от пены таежная физиономия нашего главного действующего лица.

– Вам в Университет – сказал Сытин по инструкции. – Пойдемте. Впрочем, вам нужно сначала раздеться. Тут недалеко.

Так, по воле чистого случая, попал Тарбагатай на поэтическую вечеринку в «Стране Чудес». Пока шли, пока сушили синий пиджак, пока Сытин трезво чаевничал в задних комнатах Луизы, гости уже успели собраться, а университет пришлось отложить.

## Луиза и Сытин

Теперь насчет решения Сытина завести Тарбагатая в луизины двери.

Что, казалось бы, могло связывать этих двух во всем несходных лиц? А он привычным движением распахивает створки и ничуть не удивляет хозяйку. При этом космонавт был натура монолитная, в забавах алисиной клиентуры он себя не разменивал, в очереди не торчал и вышибалой тоже не подрабатывал, довольствуясь жалованьем кафедрального надзирателя-консультанта да единовременными гонорарами за несчастые теперь уже вылеты в черные дыры.

Жизнь вышибалы полна неожиданностей. Сытин мог бы помнить старинную петербургскую басню:

С мужиком профессор раз подрался

Кто ж победил?

Профессор.

Он *физически* сильнее оказался.

И не то, чтобы тренированный космонавт, чей организм, способный выносить чудовищные стартовые перегрузки, ставил его неизмеримо выше любого физика, сомневался из-за тщедушного каламбура. Нет, просто сама перспектива подраться с физиком, независимо от исхода этой драмы, была для него абсолютно неприемлема.

Да и не нужен там был никакой вышибала. Нечего там было делить, а если нечего делить – зачем вышибала? Обходились без вышибалы.

Так зачем же ходил к Луизе космонавт Сытин?

Наука молчала: ученые мужи столь тесно развлекались в домишке, что им было решительно безразлично, кто там еще трется по задним комнатам и в каких видах. Спрашивать об этом самого космонавта было бы и тщетно и неумно. Продвинутый Студент подъехал однажды с этим делом к Луизе.

– Да-да, еще по Орловщине – сказала Алиса, и был ее ответ такая явная ложь, что этих слов Продвинутый даже никому не передавал: всем известно, Луиза приехала, скажем, из Минска, а Сытин из Уфы.

Студент сам потом домыслил, будто Сытин видел существо, похожее на Луизу, на каком-то спутнике Дзеты Жирафа – первой из покоренных им планет. Версия Продвинутого в ее психологическом очертании была, конечно, тем же луизиным враньем. Что же касается космонавта Сытина, то он ходил к Алисе за сушей химерой.

Как мы уже знаем, подавляющую обстановку «Страны Чудес» составляли зеркала. В одной задней комнате их было сразу два на параллельных стенах. Сытин попал туда по какому-то недоразумению, еще во время строительства. Вошел и встал как вкопанный, посмотрел в стену и ахнул: из стекла глядел его собственный затылок. Сытин быстро сориентировался, проанализировал обстановку и пришел к верному выводу. Он шагнул вперед. Лицо, отчасти заслонявшее завершение

шеи, повторило движение к переднему стеклу, а тыл головы отступил на шаг в глубину помещения. Сытин хотел повторить опыт, но загремели дверью и дело пришлось отложить.

С тех пор космонавта так и тянуло вернуться и вновь пережить то первичное изумление, с которым он столкнулся, увидав свой живой череп, повернутый задом в направлении лба и носа.

## теперь о лане

Что ищут в том поросшем лесом поле философы, ушедшие в бега в поисках за бесцветною выдрой?

С какую заманчивой целью ринулся в земляное небо последний спившийся шаман?

Куда сквозь черную бурю сверкающей как снег Вселенной рвется ввысь космонавт Сытин на буйном своем астрожабле?

Где найдет покой взметающий до величественных вершин пустую с блесками мысль Кронид Остов?

Отчего это тянет руки в окне подрастающая девушка Лана?

Неужто к ней Тарбагатая несет?

Пусть вспомнит читатель вопрос из соломоновой Песни Песней:

«Что же сделаем мы с молодой сестрой?»

Он там же найдет и ответ:

«Будь дверь она, мы обшили б ее досками кедра.»

Вопрос, правда, в том, дверь ли она? А если она дверь, то куда эта дверь ведет?

А девочка-девушка-дева-Лана-девица-дверь сидит и

смотрит в окно.

Из этого можно, пожалуй, заключить, что она не дверь, но окно. Она окно в стене, она стена с окном, а раз это так, царь Соломон советует воздвигнуть над ней серебристый дворец.

Посмотрим теперь, куда она нас приводит.

## Ее внешность

Если бы я решился описывать Лану, я изобразил бы, разумеется, нечто привлекательное.

То опускаясь ниже, а там вздымаясь выше, я все повторял бы: плечи, предплечья, кисти рук, суставы каждого пальца. Я запел бы: О, лебединая кожа! О, тридакновы раковины ее ногтей! Углубившись в ее наружность, я легко нашел бы тоже, о чем там почесать язык: вон – сочная груша желудка, там – балтийская смола желчного пузыря, одаль – радиосхема кишечника и повсюду – мышечные, скажем, строматолиты. Не более, чем на одну секунду задержала бы мое внимание влажная пемза ее дыхательных мешков, словно волынка облегающих бронхиальный кларнет гортани. Расположившись далее внутрь от пояса, я ощутил бы перекаты четырех бадахшанских лалов: печени, селезенки и почек, смятых как те раскаленные шары, которые вывалились из недр персидской горы, когда она лопнула и развалилась, а было то, когда серендибский гранат ходил еще по динару за дирхем, невзирая на размеры зерен. Чувствительное сердце Ланы не затруднило бы меня, оставаясь на той же почве, сравнить то ли с поющей розой, то ли с розовеющим соловьем. Продвигаясь далее от запада к востоку, я прозреваю тот символический предмет, который снаружи выглядит, как установленный в Дельфах мраморный пуп. Но у меня он сидит в углублении пологой воронки и, охваченный изнутри витою мускулатурой, несуетно устремляет-

ся к нарваловой кости хребту наподобие винта от мясорубок. Чуть ниже плавает желтая грозовая туча, за ней – избушка на курьих ножках, а там у недалеко и выход – истекающий вязким сиропом надтреснутый тутовый финик, инжир, винная ягода устья ее этрусских ножен, причина причины бессмертия тел, услада бессмертных богов.

Отодвинув папирус, я мог бы некоторое время любоваться этим литературным достижением.

Однако волнение – сродни тому беспокойству, которое мы испытываем, всматриваясь в центральную часть босхова триптиха «Сад Земных Услад», а нарисовано там, что было бы, если бы не было грехопадения – охватило бы меня и от слишком длительного любованья внешним видом Ланы Кронидовны. Резиновая Зина – вот кто меня тут беспокоит.

Конечно, мрамор не обязательно добывать в каменоломнях. И за бивнями нарвала не стоит спускаться морем под звезды юга. Эти путешествия уже совершил за нас технологический синтез. Пластические массы стали общедоступны в мешках с упакованной крошкой, а пресс-автомат легко оттиснет из нее и грушу, и любую другую форму. Существуют пленки, в которые не побрезговала бы обрядиться и лебедь. Наши живые красавицы покрывают себя таким слоем полиуретановой пемзы, что вопрос о бархатной коже навеки отпал вместе с кожей. Глаза можно выполнить из акрилата. Спрятав под свисающие с забранных вверх от затылка кудрей локоны микроскопический термоэлемент, мы заставим розоветь плечи героини от бесстыдных вздохов наездника любого полка. А можно обойтись и без электроники, одною химией: подыщем бесцветную краску, чтобы алела под влиянием молекул конского пота. В том, что касается «курьих ножек», то хотя наука здесь еще не превзошла природы, но с помощью волосистых шлангов она и сейчас уже умеет переселить гомункула из любой избушки в другой сельский сруб. Надтреснутый тутовый финик ничего не стоит

купить за деньги в любой аптеке.

Исследователи родословия Резиновой Зины утверждают, что первая из них явилась в начале двадцатого века в виде архаической полой скульптуры размером в ладонь из желтовато-серого каучука с дырою в спине, вздернутым носом, голубыми глазами, розовыми щеками и ногами, сомкнутыми доверху от самых ступней. Поэтесса воспела ее в стихах:

Резиновую Зину  
Купили в магазине            и так далее.

С тех пор она стала взрослая девушка и выходит замуж. Покупают ее по-прежнему в магазине, однако на Зин, с которыми имело бы смысл вступить в доброкачественный брак, цена установлена высокая. У нас в отчизне эти своеобразные шедевры уже много лет ваяет завод «Вибратор».

Моралисты, осуждая подобные союзы, винят во всем характерное для последних времен паденье нравов. Моралисты неправы, а с ними заблуждаются и искатели зинских генеалогий.

Сатирик Лукиан описывает одного – он называет его «безумцем» – который влюбился в истукан Венеры и провел с ним ночь. Это произошло задолго до нас. Но и в наши дни некий потомок филистимлян – изнасиловал же он ватную статую И.Р., укрывшись в тень на выставке великой художницы, и порвал ей капроновый зад. Зад был сработан из чулочины. Тем не менее ущерб оценили во сколько-то тысяч американских рублей, в то время как венерин жених – лукианов страдалец тот просто покончил с собой. Конечно, видеть здесь паденье нравов естественно для моралиста. Жизнь стбит дороже любых денег. Я, положим, соглашусь с этим утвержденьем. Но только, пока оно остается абстрактным. Реально же и исторически людям случалось обменивать и жизнь, и честь, и истину, и

веру, и любовь как друг на друга, так и на деньги, а заполучить Резиновую Зину в свою полную власть мы мечтаем от сотворения мира.

Идеал Резиновой Зины той же породы, что и другие вечные мечты человечества: такие как о способности летать, предвидеть будущее, о переселении на звезды или о всеобщем равенстве. И если верно, что поэты первыми среди всех умеют выразить дух общих желаний, Зину-родоначальницу нужно искать не в каталогах завода «Вибратор», а в старинных поэмах.

У древнего Гомера герои летают довольно часто. Иные – те, кого слепой певец именовал «богами» – не только обитают на звездах, но часто просто ими являются. Арес живет на планете Марс, а Меркурий на Меркурии. Золотой век – благодатная эра свободы, равенства и братства – тоже измыслен Гомером. Поищем у Гомера и промышленную женщину.

Разумеется, если я назову две зининых ипостаси Еленой и Пенелопой, мне посоветуют не вытесывать деревянных парадоксов. Вижу перед собой разъяренное волосатое чрево встающих на дыбы оппонентов и умолкаю. Пусть Елена – не Зина и Пенелопа тоже не Зина, хоть их деянья и дела, которые вели их мужи, красноречиво гласят об обратном. Обе они, как и Зина, безмолвны, обе они предмет всеобщих вождлений, ни одна из них не стареет... Налицо вечная доступность воображению первого встречного, что и делает Зину Зиной. Впоочем я обещал и уступаю. Не прекраснейшая из жен и не вернейшая из супругов – обе они не Зины. Узнала ведь Пенелопа своего Улисса. Узнала – после того, как он перебил всех вокруг других женихов. Зина бы тоже узнала... Но не буду спорить, обещал, уступаю. Вспомню сочинение Диона Златоустого, который доказал, что ни Троию никто не брал, ни Елены там не было, а был один призрак. Призрак можно и уступить.

Да Бог с ним, с Гомером. Женские тела – не его сфера.

Высокая поэзия всегда инстинктивно береглась неподлинности своих созданий и потому избегала чувствительных описаний красот прекрасного пола. Любой поэт знал, что в красивую ляру искусственной речи рано или поздно придет внедриться вполне реальный суккуб.

И сколько бы ни полоскались в дерьме наши современники, пленка в руках Наташи Ростовской куда омерзительнее: дерьмо нашего времени – не более как пластический суррогат, а та пленка эдухотворена.

Всего, изложенного здесь и выше, довольно, чтобы читатель понял, что писавши: «Лана лицом бела, синяя глазами и кудрями светла» цель моя вовсе не щекотать чье-то поникшее воображение, но разъяснить, что невеста Тарбагатая, исполнившись должных лет, покрылась отличительными знаками.

– Что скажешь, Авель?

– Я полагаю, что души имеют пол.

– Какого же они пола?

– У женщин – мужского, у мужчин – женского, а у зверей – ангельского.

## Ангельский пол

*Известно, что когда Бог поделился с ангелами намерением сотворить человека, они возражали, в особенности те двое, которых звали Узз и Азас.*

*Дело шло к закату Шестого дня.*

*– Не понимаю – говорил Узз.*

*– Где логика? – спрашивал Азас.*

**Всевышний:** В наличном творении, как бы Я его ни разнообразил, все мне чего-то нехватает.

- Узз:* Разве мы, ангелы, не творим Твою волю исправно и в должные сроки?
- Всеvyšний:* Творите.
- Азз:* А если Твоя воля постоянно водворяется, чем Ты можешь быть неудовлетворен?
- Всеvyšний:* Я мог бы иметь и другую волю.
- Узз:* Позволь. Свет – от тьмы, день – от ночи, суша – от моря, все отделено и разделено. Здесь Твоя воля обеспечена. Однако звери все же делают, что хотят.
- Всеvyšний:* Они просто не знают другой воли. Все, что бы они ни делали, для них естественно, а это и есть Моя воля.
- Азз:* Когда множество твари, крупной и мелкой, действует, хотя бы и по естеству, но разнообразно, мир неизбежно меняется, а с ним и Твои твари. Их эволюция создает формы, вид которых трудно предвидеть. Разве эта творческая сила естественного закона не творит как бы уже не Твою, а свою волю? И разве это не то, чего Ты добиваешься?
- Всеvyšний:* Так. Но это не всё. У этой твари нет Моего образа и подобия. Все вы лишь продолжаете меня во вне. А Мне нужно иное.
- Узз:* Что это значит?

- Всевышний:* Точно то, что Я сказал. Я намерен сотворить творящую тварь.
- Азас:* По чьей воле - творящую?
- Всевышний:* По Моей воле человек будет способен творить.
- Азас:* А по чьей воле он будет творить?
- Всевышний:* По своей, разумеется. Как Я, который творит по Своей воле.
- Азас:* А не получится ли, что его воля будет отлична от Твоей?
- Всевышний:* Вполне возможно.
- Азас:* И может стать, это будет злая воля?
- Всевышний:* Да.
- Азас:* Нет, нет и нет! Ты создаешь существо своевольное и неблагодарное, при этом сознательное и с воображением, способным обращать пути естества вплоть до того, чтобы отрицать Твое же бытие, и имеющее силу ума, довольную для неопровержимых аргументов. Еще и еще раз нет!
- Узз:* Внемли зову рассудка!
- Всевышний:* Говори.

*Узз:*

Ты создаешь нечто между зверем и ангелом. Размножаясь во главе природы, Твой образ победит всех и останется на земле одиноким. Его множеству неостанет плодов и трав, будет голод, его дети станут гибнуть, даже еще не увидав света. Тогда он проклянет час, в который был создан – вот этот час. Он скажет: или Тебя нет, а если Ты есть, это значит, что Ты творишь зло. И будет прав.

*На такие печальные слова Всевышний сказал в ответ:*

*– И вы, и Я – мы будем действовать в точности как говорили.*

*И Он отправился на берег реки, где в пыли кувыркалась стая лемуров.*

*А Узз и Азас с того времени всячески вредят человечеству: Азас сбивает с дороги женщин и мужчин, а Узз губит нерожденных младенцев.*

## МОСКОВСКИЕ ДРЕВНОСТИ

Говорят, Москву основали на семи холмах.

С тех пор город резко разросся и немного сместился. Когда только еще начинали копать, один холм был тут же действительно обнаружен под нивелирующим слоем культурных отбросов. Быть может именно на этом холме подобрал некогда Юрий Долгорукий ту первую тлеющую историческую головешку. Но материя холма оказалась вся какой-то неосновательной, рыхлой. Слишком уж легко стало им копать, и они остановились, чтобы не срыть невзначай самый холм, а тогда –

прощай, Москва! Все же Остов велел им еще немного поработать, как вдруг саблезубая кирка археолога застучала по неизвестной породе. Оказалось, холм представляет собой огромный окаменелый пень, слегка лишь припудренный цивильным и технологическим аллювием.

Ежели такой пень – каково же дерево? – невольно пронеслось в голове у каждого. – Рядом с подобным целлюлозным титаном даже гигантская как мамонт секвойя показалась бы хрупкой березкой.

(Кстати, о мамонтах. Мамонта видели несколько лет назад в дебрях Уссурийского края, в гуще чаши: раздавался треск сокрушаемого мускулистой громадой бурелома, мелькнул жавый бок. Наверное это был медведь).

А поперечник пня был едва ли не шире целого леса. И окаменел он совсем недавно. Тому каких-то чуток столетий кору еще можно было сдирать голыми руками. А ведь жил, краснел, зеленел. Листву на прозрачной вершине оведал прохладный ветер неба, корни в глубинах почвы орошали хрустальные воды каменеющих недр. Что рядом с ним знаменитый Мамврийский Дуб, так называемый Теревинф Палестинский, Падуб Святой Земли, мелколиственный, узкий и малорослый!

А не назывался ли здешний народ – рассуждал Остов – «древлянами» как раз по имени этого древнего пня, который я сейчас пытаюсь безуспешно измерить?

Находка взволновала весь круг науки. Высказывались, что может и остальные шесть холмов суть не что иное, как запорошенные пеплами жизни пни. Судили о высшей целесообразности свайных построек на суше, о «долгих руках» Долго-рукого князя, о том, на каких основаниях новая столица собираемых от Орды северных княжеств так часто горела. В конце концов мыслящий и пишущий слой сошелся на том, что рост феномена во всяком случае соответствует величию разыграв-

шихся на его верхней плоскости исторических драм. И эта легкая схема с патриотическим ароматом завершала теперь любую дискуссию по поводу пня, привлекавшего нестойкие мысли глубоких умов, словно ивановых червей – фосфоресцирующая ночная гнилушка.

Такова была московская атмосфера, когда вкатывался в нее одержимый сном Тарбагатай на своем вымазанном сажей масляном и ухающем бронепоезде.

Авель как раз выступил тогда с глумливым соображением, будто пень вовсе не принадлежит стволу из породы хвойных или цветковых, но отщепился от иной ветви растительного царства, а именно – от грибной. Яд авелевой иронии не замедлил произвести исторические галлюцинации. В ход пошли пророческие тексты. Толковали стих: «Вот Я на тебя, Гог – князь Роша, Мешеха и Тувала!»

С Рошем особых проблем не возникло. Все были согласны, что «Рош» это произнесенный шепелявым голосом «Росс».

Относительно Мешеха нашли, что в разброде после Троянской войны некто Мопс увлек за собой часть ахейского войска на юго-восток Малой Азии и здесь с ним поселился. В египетских архивах, в анналах хеттских царей, на табличках из сожженного Угарита имя того же лица прочитывается более точно – как Мосх или Моск, вождь народа того же имени, то есть Мешех. В хрониках Аккада народ этот назван «мушки». Гог оказался лидийским правителем Гигом, известным даже из Геродота, Тувал – не кто иной, как наш старый знакомый – господин Ту, автор «Текстов из Кипарисовой Трухи», и лишь с Магогом дело не достигло подобной хрустальной ясности.

Таким вот образом, посредством дружных телепаний вокруг здешнего народного улья наша рожденная из пепла красавица-столица обрела наконец вполне респектабельного античного имядавца: Москва или Мосхва, через Мопскву – от Мопса.

Какой изящный комментарий! –  
Сказал руссинию татарий

рыдали в голос высокие интеллектуалы.

Однако и на этом не остановились. Когда на исседонском городище за Уралом раскопали берестяную грамоту с парой строк из недошедшей части Ригvedы, пришла нужда в чем-то куда более всеобъемлющем, чем прежние, пусть остроумные, но по природе своей крайне фрагментарные топонимические и ономастические обнаружения. Вакуум заполнила следующая ниже статья.

### *Из ранней предьистории первобытных арью*

*Арктическая прародина ариев простиралась по самому северу евразийского материка вдоль берегов Ледовитого океана. Они появились там в теплом промежутке между двумя оледенениями. Судя по немногочисленным находкам, это были высокие люди правильного телосложения, с черепами, скорее длинными, чем широкими. Оружием ариям служили топоры, которыми они умело пользовались в сражениях, на охоте и для домашних хозяйственных нужд. Хотя археология вечной мерзлоты пока еще в пеленках, удалось найти два таких топора. Рядом с топорами в одном случае обнаружены остатки крупного животного. Им мог быть белый медведь. Видимо полярное чудовище промышляло охотой, как правило – облавной, но какой-нибудь смельчак решался иной раз выйти даже один на с тин против опасного зверя.*

*Черты несложного быта древних ариев могут быть определены как полуоседлые. Скорее всего они умели сооружать из шкур временные жилища и начинали пользоваться огнем. Об этом свидетельствуют следы копоты на остатках*

медведя. Сало хищника применялось для простейших светильен, разгонявших тьму бесконечной полярной ночи. Большие костры загорались только летом и осенью, когда топлива бывало вдоволь. Этих чисто внешних обстоятельств довольно для того, чтобы уяснить религиозное значение огня, общее всем народам арийского корня. Сезонные миграции ариев происходили в светлое время года. Вначале то были лишь ограниченные блуждания в поисках средств поддержать священное пламя. Одно из таких путешествий привело ариев на юг, в тайгу с ее неисчерпаемыми запасами древесины. Отсюда они уже не возвращались на свою ледяную прародину.

Немыми свидетелями древнейших странствий наших предков являются факты языка: топоним Анадра (совр. Анадырь) и название реки Индигирка («Горная речка»). Сюда же относится полузабытое слово «бабр». По-видимому, эта близкая к исконной форма имени крупного хищника обозначала белого медведя.

## стукнабрата

Не успел широкоскулый покоритель столицы расседлать своего чубарого, как вихрь неизведанных впечатлений схватил его, закружил и понес.

В эти же дни состоялся приезд в наш обожаемый город индийского гостя по имени Стукнабрата. Появление Тарбагата почти совпало по времени с торжественной встречей муни.

На посадочной полосе выстроили целую академию наук. Там пещептывались о его сверхъестественных способностях: мудрец из дружественной нации берет в рот голову ядовитой змеи, спит, обернувшись колючей проволокой, может пить чем

попало, почти как слон. С гостем намеревались проводить исследования о неочевидных формах знания, в особенности уяснить лежащую под ними философию. Все это с намерением чего-нибудь сообразить из лысых лохмотьев необычайного, ибо старая наша философия сошла на стук, а вместо новой философии по всей Европе бормотали пошлые лирические стишки в вольной манере и с вредной моралью, которая ничего не цементировала и для нашей территории вовсе не годилась. Поэтому сам Остов тоже торчал тут во вторых рядах.

Дул резкий пронизывающий ветер, падал дождь пополам с мокрым снегом, опасались, что перенесут посадку. Но вот, разрывая рыхлые клочья туч, вынырнул сверху черноватый летучий гигант, сделал прямой поворот, развернулся боком, и на вершину лестницы под крылом, замотанный до глаз в белую полосу будто живая влажная гусеница, встал Стукнабрата и начал спускаться. Тотчас же ветер надул пузырьем ледяной парус. Самолет резко оторвался от трапа и отполз в полночь. Скользкие ступени теперь едва освещались тусклым сиянием фонарей из-под ног знаменитого риши. Шаг за шагом, миг за мигом, все ниже, все ближе вставал и двигался спутанный в белый моток блестящий червь его фигуры. Вот он протянул вперед длинные руки ладонями вниз, под нами – и трап откатился вслед за исчезнувшим во мраке аэропланом. Еще один шаг вниз, хриплые приветствия, прикосновения к слезящимся щекам и неловкие рукопожатия...

Немедленно состоялась беседа-прием на кафедре Крониды Евлогиевича. Гость говорил с возвышения.

– Дорогие товарищи моей мгновенной судьбы! Я приехал к вам в эту гостеприимную область, я пересек снежные горы, бездонные моря, реки, пески, травянистые равнины и воздух, я взлетел там и опустился здесь, чтобы донести до вас искру с полыхающего кострища мудрости моего древнего народа. Тысячелетняя преемственность усилий в самоуглублен-

ии и оковании нрава заронила в сердца людей из долин Инда и Ганга, рассевающих рис по скалам Гималаев и пасущих стада круторогих буйволов на плоской вершине Декана – она заронила в их невидимые сердца священное пламя испепеленного «ничто». Ваш Запад простирает во вне лучи воображаемой цели. Наш Восток собирает те же лучи в линзу неосуществленных средств. Без этого вечно обратного хода предметов мысли и духа сфера человеческих устремлений стала бы темной и плоской. Вот видите: ее ткань иссыхает, она сжимается, морщится и жухнет. Но подчас бывает довольно крошечного огонька, чтобы пустая оболочка, ярко вспыхнув, обернулась золой и исчезла с первым же дуновеньем, подобно тому, как стораает опадающий пух, когда пылкий змей извиваясь бежит меж корней тополей по зеленым канавам.

Ваша закатная мудрость разыскивает «ничто» снаружи. Вы устремляетесь в межзвездную черную пустоту, вы изыскиваете ее признаки в первичных началах, руководивших некогда созданием светил и обращающихся вокруг них застывших шаровидных масс. Затем вы углубляетесь в их незримое строение и там находите все ту же беспочвенность. Но мы – на востоке – от века знаем, что то самое «ничто», которое вы пытаетесь раскопать в стремительных блестящих видимостях, изначально содержится уже в одной человеческой способности быть. Потому-то оформление этого мнимого бытия почти не требует причин и усилий. Его именно потому так легко сотворить, что в сущности его нет вовсе. Нет существа в мире более слабого, чем его создатель, и лишь привычка раболепствовать перед видимостями заставляет как их, так и нас принимать на себя эти туго натянутые положения, рыть черным железом норы вглубь несущегося по кругу глухого ядра, возноситься на серебряных крылах, дабы еще раз обозреть его широкую расплывчатую периферию.

Итак, давайте наконец встанем на ноги, заглянем в себя

и уразумеем, что не вещь порождает вещь, ибо вещей – нет, но образ производит образ, ибо только образы и существуют. Здесь даже вовсе не нужно особого усердия. Пусть я не могу сразу ответить на все вопросы «что» и «откуда», но зато я расскажу вам о неосязаемой силе пронзительных влияний, о таких тонких печатях избытых мыслей и давно исчезнувших обольщений, какие привыкла небрежно с себя отряхивать ваша блестящая закатная чесуча.

Иные истории должны бы вас удивить. Кто-нибудь говорит, что он старше своих родителей. Или этот пес говорит по-английски. Вы бы наверное удивились. Их привозят в Калькутту, в старую Калькутту, они теперь уже сами ведут по перекошенным улочкам, останавливаются и говорят: «Здесь!»

Куда там! Слышится громкий лай, из-под дверей и притолок высовываются хвосты и морды, шерсть залетала клочьями, зубы сверкают, глаза горят, раздался ужасающий хриплый вой, все повскакали с мест и бросились к выходу, а торжествующий Стукнабрата застрял один, махая с возвышения длинным широким полотнищем тюрбана-сари.

Мы с Авелем тоже бросились обратно по перекошенным от боли улочкам старой Калькутты. Остановились возле дома, который, нам показалось, где-то уже видели. «Здесь!» – сказал Абель. Действительно, в окне можно было разглядеть знакомое лицо индийского гостя, а он все махал тканью чалмы внутри опустелого помещения, пока не развеялись мохнатые морды и не потухли сверканья оскаленных зубов.

– Духовные традиции моего древнего народа – продолжал Стукнабрата – переживают вечное возобновление. Любой человек, каждый их нас – это не только присутствующее лицо, это частая, почти сплошная сеть из бывших и следующих за ними существ, живых ли, мертвых ли, хотя мертвых почти никогда не встречается, умерших рано или поздно – другое дело, плотных, духовных, мнимых, воображаемых, а также их

мыслей, чувств, мнений, желаний и страхов и, наконец, их судеб, как осуществленных, так и бытующих в мечтах. Вот что такое – человек.

Все мы пожираем горькие корни былых рождений, гложем кору целебного кустарника избытых страстей, обсасываем пресные ягоды самоограничения. И имя этому – «плоды дхармы».

– Скажите – произнесла дамочка-Луиза на деревянном санскрите – а может так быть: вот мне приснилось, что я гелиотроп.

– Конечно – прошептал Стукнабрата – ваша философия на это не может ответить.

И тут все обратили внимание, что крашенные желтые локоны маленькой женщины выпрямляются и встают по краям темени дыбом. А вон и зеленое платье вдруг кокетливо облегло подсыхающие с концов ручки.

Авель уже сделал со своего места к ней движение, словно собрался поливать, но его властно остановил Стукнабрата:

– Чтоб не гнили семена!

Меж прядей девы мелькнула темная серая плешь, круглое донце выросло в небольшую тарелку и почернело. Но та не отчаивалась. Остатком сморщенной ручки она распахнула свою кожаную торбу и добыла оттуда зеркало. Поглядела, побледнела, позеленела. Вздохнула, делать нечего, и снова полезла себе в мешочек. Появился флаконец с маслом, благоухающим всеми ароматами пастбищ. Она же принялась пальцем потирать край лба, где еще оставалось место для узенького виска.

– Готово – сказал голос гостя.

И тут же она этим последним пальцем расшатала и вынула из головы зрелое зерно.

– Вот они, плоды дхармы.

## Некоторые мысли господина Ту

Есть маленькое племя «мышь» и огромное племя «боров».

Когда я думаю «мышь», мне кажется это быстро пробегает кузнечик, а о борове я вообще стараюсь не думать. Хотя ведь этот боров заслоняет собой значительно больше тени, чем как кузнечик, так и мышь или две-три-четыре мыши. Даже тысяча мышей не составят одной свиньи, а о борове и говорить нечего. Боров может убить человека.

У оленя, если он размером с зайца, кости тонкие, зато вырастают клыки. Народ таких клыкастых оленей когда-то пасся поблизости. Они брали себе жен по ту сторону рек и очень редко умирали. Никто никогда не видел их трупов.

Раньше трупов не было. Их не существует и сейчас, иногда лишь находят нечто похожее: лежит как живой и не дышит. Потом начинает менять форму, цвет, запах. Особенно по этой причине их, казалось бы, не едят. Их едят насекомые. А мы едим трупы мышей и клыкастых оленей.

Когда сажают в почву корень такого зверька, например, зерно или череп, очень быстро появляется ствол с листвой, новый росток. Я хотел бы успеть полюбить этот ствол, но он сразу твердеет, желтеет, на нем расцветают цветы. На запах редких смол слетаются насекомые. Цветы их проглатывают, потом выпускают обратно. Почему цветы не съедают мух, как это сделали бы мы?

Мышь скребется, а боров словно не замечает. Но мышь скребется настойчиво. Тот вскакивает, бежит прямо, бежит назад. Прислушивается. Садится обедать. Но нет, мышь продолжает свое. Боров проламывает ширму, задирает к небу косенький хряк, визжит, у него дурное расположение духа. Зверь стал задумчив. Взор его затуманился, глаза покраснели. Вот он прикидывает на пальцах (их у него всего два):

– А правильно ли я поступил в том и в этом случае? А что могло бы произойти, если бы я сначала побежал назад? Зачем я так долго обедал? Не лучше ли было воздержаться?

*Ему становится невыносимо.*

– Кто же, наконец, создал эту чертову мышь?! – додумывается животное.

*Боров проводит время, размышляя о том, кто создал эту чертову мышь, а племя клыкастых оленей уходит вплавать на ту сторону любимой реки.*

## нападение

Продвинутый Школяр стал выворачивать перед Индийским Гостем извилистые бездны местного инакомыслия. Так продолжалась дискуссия на кафедре. Он говорил:

– Когда держава достигает пределов необозримого и не видит уже собственных границ, она устремляет взор в прошлое или в будущее. Здесь ей приходит на помощь державная наука. Прежде ведь государства были плоские. Объем страны уходил вверх или вниз не более чем на глубину шахты или на высоту башни. Выше и ниже царили боги. Видимые божества свисали сверху, руководя кругами времен своим окрестным перемещением и цепляясь за звезды, словно летучие мыши. О подземных боггах никто ничего не знал: они внушали страх.

Физика – это пугало последних столетий – разъяснила, однако, что государства бытийствуют на трехмерной сфере, выпуклость которой, хотя и мешает обзору рубежей, но не стирает их вовсе. А светила небес располагаются не вовне, а в том же пространстве, что и держава, продолженном во все стороны сразу. Следуя новейшему откровению, высшие боги

упрощаются до знаков месяцеслова, правление временем они из своих когтей упускают, нижние – погружаются куда-то в магму.

Затем наука заявила, что время нужно считать еще одной мерой – после тех двух и трех мер: вперед, вбок и вверх, всеми которыми теперь владеет держава. Империя получила новую ось, еще одну степень свободы для захвата. Каждый трехмерный миг расположился в стопке множества дней минувших и столь же трехмерных. История улеглась перед лицом державы в четырехмерном виде, готовая стерпеть все, что ей выпадет, а держава принялась действовать в ее поле силами прежних привычек.

Положив, что века прошлого это как бы соседние страны, Империя высылает их покорять казачьи отряды историков. Спускаясь в былые эпохи десантами на парашютах, вымуштрованные воины отчизны немедленно наводят там державные порядки: строят острог, натягивают государственное знамя, сколачивают дощатый палисадник, вскапывают грядку настурций.

Пока они этим заняты, у нас уже стоит новая историческая эпоха. Следует новый десант, который находит в точке приземления старомодное административное здание, неопределенного цвета тряпье на полосатой мачте, унылую клумбу. Пора менять обстановку: одна эпоха предпочитает настурциям георгины, другая – петунии. Постепенно в прошлом образуются наслоения из будущего, археология задом наперед. Начинаем осваивать уже наши эры с точки зрения эпох, более отдаленных. Современность становится складом гробовых плит.

Всем известны печальные тому итоги: время застывает, народ нищает до последней нитки, отрешенные от дарований сочинители протирают руки в замогильную тень с одним и тем же вопросом: где причина загвоздки?

Как это ни странно прозвучит, первую вину несут изо-

бретатели четвертой меры. Ведь изображения трехмерного мира не имеют самостоятельного бытия на четвертой оси. Пусть они, эти исторические описания, строятся из точечных букв в линейные строки на плоских листах, которые, в свою очередь, выкладываются в стопки, и в самом деле трехмерные. Но эти книги суть фрагменты нашего, нынешнего мира, того, который стеклянеет в нынешнем «ныне», а не в бывшем прошлом. Создавать из описаний живые миры мы не умеем. Они ложатся к нам в мир во весь рост, как в гроб, отмеченный тем же временем «ныне». Оттого-то и улучшения, вносимые в историю перьями Империи, не причиняют бытию тех безудержных роковых совершенств, которые имеет в виду держава, приступая к своему наступательному созиданию. Власть над прошлым и над будущим остается делом развратного имперского воображения. В каждый миг своей истории Империя может существовать только как мир, полный исторических извращений, в чем и состоит ее культурообразующая функция. Культура Империи – это огромный музей домыслов о небылом. Держава на деле держит в руках «четвертую ось», но все величины на этой оси – мнимые, как, впрочем, того и требует физическая теория. То же и об утопиях.

– Позвольте – возразил Стукнабрата – зачем вы пытаетесь рассуждать о том, о чем имеете столь смутные понятия? Не приходило ли вам в голову, что порядок истории вообще безразличен? Души, знаете ли, переселяются в обе стороны...

– Как?! – воскликнул Продвинутый.

– Как с турком. С заколотым впервые в 1602-ом году на сцене елизаветинского театра «Глобус». Хотите, покажу вам личные записи?

– Мразь в тюрбане, драка с невидимым турком – подтвердил Авель. – Но как же удалось это записать после самоубийства на подмостках?

*Следует рассказ очевидца событий из последнего монолога Отелло, освещающий их ход с восточной точки зрения.*

## Зной в Алеппо

Меня звали Ваил ас-Саби и я жил в Халебе.

«Ас-Саби» значит «из сабиев». Моя семья была родом из Харрана, где поселился некогда язычник Терах, отец Ибрагима и всех верных. Народ тех мест поклонялся небесным светочам, а сабии, мои предки, были в Харране жрецами лунного идола. В течение тридцати веков мы наблюдали изменчивые положения звезд, знания точных наук передавались у нас от отца к сыну. И хотя впоследствии вера в Аллаха, Единственного и Всемогущего, восторжествовала над суетными заблуждениями о власти сил небосвода, однако тысячелетние записи, которые мы вели из рода в род, и поныне не утратили своего значения, равно как и хитроумные приспособления, измышленные для тонких измерений хода светил и вещей, подверженных их влиянию. Сюда относятся в первую очередь металлы и драгоценные камни.

Отец оставил мне в наследство так называемые «Весы Мудрости» с пятью подвижными и неподвижными чашами для измерений в воде и в воздухе. С их помощью определяют состав сплава, не прибегая к разрушению предмета, и отличают подлинные яхонты от поддельных. В сокровищницах и на монетных дворах от таких весов большая польза.

Обладание Весами Мудрости доставило мне должность при базаре в Халебе: меня избрали Надзирателем Истинных Мер. Дело было несложное и требовало лишь честности да умения владеть весами. По ничтожным поводам ко мне обращались редко. Если торговец видит динар, прошедший многие

руки, динар стриженный, пиленный или битый – ибо многообразны ухищрения, на которые пускается алчная низость, чтобы завладеть золотом, хотя бы пылью, опилками или тончайшей стружкой – он может проверить сомнительную монету на простых весах. Они имеются в каждой лавке. Крупные расчеты в золоте старой чеканки всегда ведут весом, а не числом монет. Но хорошее золото в наши дни ходит редко, со времен Михаила, царя Римлян, его почти не видно. Поэтому стоимость динаров равного веса может отличаться, и когда производят расчет монетами, относительно ценности которых между сторонами нет согласия, идут к Ваилу ас-Саби.

В тот жаркий день является ко мне Али, торговец шелком.

– Здесь один франк из Анконы. Нужно взвесить его цехины.

Подходит франк, с ним мавр-наемник.

– Вот цехины.

Передает мне образец, десять монет. Вижу: деньги блестят, только что отчеканены, светлое золото, на обороте крылатый лев. Начинаю делать необходимые измерения на Весах Мудрости, а Али тем временем рассказывает:

– Он хотел, чтобы я взял его цехины за динары, потому что так, будто бы, рассчиталось с наемниками венецианское казначейство. Но монета новая, а султан сильно теснит неверных. Дела у них все хуже. По слухам, двадцать кораблей пошло ко дну, ясно, что рука порчи может коснуться цехинов. Однако и мы терпим убытки: вчера прибыл шелк с тремя караванами, и все три сложили груз, ибо на побережье торговать не с кем. А у нас цены сразу упали чуть не в двое. Пусть платит в гератских динарах по курсу.

Завершаю вычисления, делаю запись в памятной книге, даю копии Али и франку и читаю вслух для этого неверного:

– Десять венецианских цехинов такой-то чеканки, согла-

сно определению Надзирателя Истинных Мер на Весах Мудрости, произведенному сего дня, в Алеппо... и так далее, весь расчет... соответствуют семи гератским динарам с четвертью.

А уже в гератском динаре, как всем известно, на восемнадцать единиц чистого золота – шесть серебра, то есть порчи на четверть. Прикинув, что в его цехинах порчи будет более половины, франк сам белеет как серебро и приходит в ярость.

Я уже говорил: это был ужасный день. Воздух остановился, кругом все побелело, пот мгновенно высыхал, и лица стали похожи на пыльные сосуды из тусклой глины. Люди, словно утратив способность к обычному плавному движению, только мгновенно меняли одни на другие свои нарочитые позы. Я взглянул на мавра. Его серое лицо ничего не выражало. А франк орал:

– Этого не может быть! Это ложь!

Меня прямо в сердце уязвили его слова. Я увидел вдруг сразу всех моих благородных и мудрых предков, веками обращавших взор туда, где нет никакой неправды, взвешивавших самое Истину – и вот завершение их усилий к познанию меры вещей: жалкий варвар, невежда, разодетая белая обезьяна обзывает их внука и праправнука базарным плутом! Какая скорбь!

Не знаю, о чем думал в это время Али. Может быть ему представилась картина огромных убытков, возьми он в уплату дутые цехины, и последующий вид полного разоренья. А может быть он принял в свою душу ту боль, которую ощутил я – не знаю, однако он ответил франку спокойно и тихо, и в речи его был яд.

– Чужеземец, Весы Мудрости не умеют лгать. А вот этот зверь – он указал на крылатого льва на монете – как видно, только лгать и умеет.

Разумеется, таких слов произносить не следовало. Есть три вещи, которых не должно осквернять базарной перебран-

кой: это религия, государство и родословие. А о крылатом льве мне было известно от некоторых иудеев, что когда у них еще был Храм, в дыму огня там появлялся огромный ангел львиного облика и пожирал жертвы. Его звали Арьел, Лев Аллаха. Христиане уверены, что этот Арьел продиктовал Марку, столь чтимому в Венеции, его Инджил, Евангелие о деяниях Исы, сына Мирьям, пророка, которого они славят, словно он сам Аллах. Потому-то Лев Аллаха и оказался на обороте цехина. Но где все это было помнить Али, простому торговцу шелком!

Франк взбесился.

Когда государство в отчаяньи, это в первую очередь сказывается на деньгах. Наемникам надо было платить, пришлось чеканить дурную монету. Пока ее раздавали небольшими суммами и людям без опыта, венецианская казна, казалось бы выигрывала, но с течением времени фальшь сделалась очевидной, уважение и страх перед морской республикой рассеялись, и вот уже на базарах начинают хулить золотого ангела – крылатого льва, ибо золото его гнилое.

Обезумев от зноя и злости франк протянул руку к бороде оскорбителя.

Дело могло плохо кончиться: за простую драку у нас можно было отведать палок, за драку с ножом – лишиться руки, а за тяжелую рану виновника, случалось, оскопляли. Мне стало жаль глупца. Я попытался остановить его, но напрасно. Зря я его пожалел. В то же мгновение я увидел, как уходит вверх рука застывшего словно статуя наемника-мавра, и в ладони у него треугольный кинжал, острием обращенный ко мне. И тут же я увидел себя глазами этого мавра: будто бы я поражен его рукой – кинжалом сверху в грудь. И льется скверная рыжая краска, а я выкрикиваю какие-то безобразные варварские слова, напыщенную ругань, проклятья и делаю вид, что падаю на лежащую на досках куклу, но это не кукла, а труп женщины, от лица ее пахнет собачьим салом, и я понимаю, что

это не труп, а живая женщина, и сам теряю сознание.

## Мечь сабия

– Как видите, для сотворения души довольно бывает фонетического усилия – подвел итог Стукнабрата, намекая на рассуждения о пышном звучании шекспировской строчки. – Это был сабий, не турок. Но для поэта-варвара – в чалме, так уже и турок.

– Играем на кундалини – глухо отзвался Авель, охваченный самыми мрачными предчувствиями.

Словно в подтверждение его мыслей, Продвинутый, учуяв мгновенно куда ветер дует, с места поддакнул Индийскому гостю:

– Когда родился ваш мнимый турок?

– Отнимите общеизвестный промежуток между двумя первоплощениями, то есть 216 лет, от года первой постановки «Отелло». Получите 1386-ой год. Прибавив к 1602-му году дважды по 216, приходим уже в наше время.

– А в кого он воплотился в 1818-ом?

– Очевидно, в эфемериду – ответил Стукнабрата без малейшего колебания.

Продвинутый взялся за перо.

В первой же статье он даровито разработал вопрос хронологии. Книга Джиральди Чинтио с историей Венецианского Мавра была сдана в печать в 1564-ом году, и тогда же родился Шекспир. Опершись об эту дату, Студент отодвинул позднейшую черту событий еще на 42 года, когда рыцарь-госпитальеры уступили Родос туркам. Узнав, что Венеция держала гарнизон на Кипре с 1477-го года, он вычислил, что Отелло мог здесь совершить самоубийство не ранее этого времени, но и не позднее 1522-го года, так как Родос в его дни

оставался в руках воинствующих христиан. Сорокадевятилетний срок с 1477-го по 1522-ой год был, однако, слишком растянут. Другой опорной датой для Продвинутого стал 1516-й год покорения Алеппо правительством Блистательной Порты. С этой поры любой житель Алеппо мог бы обоснованно именоваться подданным турецкого султана или просто турком. Заблуждение о турке, о том, что Ваил ас-Саби – турок, а не сабий, должно было длиться столько же лет, сколько прожил Шекспир до постановки трагедии. Вычитая эти тридцать восемь лет из 1516-ти, получаем 1478-ой год, дату, почти совпадающую с 77-ым годом, установленным как нижний предел возможного нахождения на Кипре Мавра. Отсюда следует, что Отелло покончил с собой скорее всего в начале 78-го года, а прибыл он на остров в конце предыдущего лета: из-за весенних, осенних и зимних бурь турецкий флот не осмелился бы высунуть нос в открытое море, и разметал его внезапный летний шторм.

Доживи Ваил ас-Саби до этого несчастья, ему было бы 92 года. Таков общий срок жизни его и Мавра, и поделив 92 для справедливости пополам – ведь оба они в сущности «одно лицо» – мы нашли бы, что каждый прожил по сорок шесть лет, при условии, что сабия убил младенец в пеленках. Этого, разумеется, быть не могло: со слов самого Мавра известно, что свою военную карьеру он начал в семилетнем возрасте. Теперь все зависит от того, сколько ему тогда было лет в действительности. Пока мы знаем, что не менее семи. Но если остановиться на более чем вероятном предположении, что он совершил свое первое убийство в 14 лет, прибавить эти годы к 92-м и сумму опять-таки поделить пополам, мы приходим к тому, что Отелло родился в 1425-ом, а сабий был заколот около 1439-го года, будучи отроду лет пятидесяти трех.

Так рассуждал Продвинутый Студент и успех его окрылил. Он затеял брошюру. Ограничусь здесь схемой тезисов.

Все беды Мавра начались после базарного злосчастья и в нем коренились. Набежала стража, учинили суд скорый и неправый, франк дал взятку, Отелло отделалася отсечением буйных частей и с тем отпущен подобру-поздорову. Итак – заключал автор брошюры – трагедия любви Мавра к Дездемоне состояла в том, что это была любовь кастрата.

Наука взывала.

Стукнабрата, который ожидал от своей просветительной миссии в гостеприимной и дружелюбной стране каких угодно результатов, но только не прямого переселения мстительной души потомка жрецов лунного идола Ваила ас-Саби в тело Продвинутого Студента, смолк и сидя отмалчивался. Остов осторожно заглядывал в свежие кипы журналов. Лана все чаще смотрела в окно, а один раз даже вышла на улицу.

Авель же принялся мне объяснять, почему Нил давно не разливается.

### *Нильские басни*

*Говаривал Магомет:*

*Нил в Раю струится медом  
Вином – Евфрат.*

Об этом мы узнаем из книги Абдуррахмана ибн-Абдалхакама, из записанного в ней рассказа Абдаллаха ибн-Юсуфа, который стал ему известен от Абдаллаха ибн-Умара, со слов Хубайда ибн-Абдарр-хмана, с свою очередь следовавшего сообщению сына Асимова Хафса, услышанному этим последним из уст Абу-Хурайры.

А вот история, которую передает тот же ибн-Абдалхакам, опираясь на Усмана ибн-Салиха, который получил ее –

через ибн-Лакми – от Кайса ибн-ал-Хаджаджа, а этот из первоисточника.

*В год, когда Амрабналас Египет завоевал, в первых числах месяца бауна, ему говорят:*

*– О предводитель! Есть тут у нашего Нила обычай...*

*– Что за обычай?*

*– В двенадцатый день текущей луны мы дарим Нилу чистую деву, в запястьях руки, а шея в бусах, и река выходит из черт прибрежных, на три луны заливая теснину. И с тем мы спокойно проводим год, вкушая плоды нильских избытков. Итак, в двенадцатый день бауна...*

*– Какое суеверие! – вскричал Амрабналас.*

*Деву не утопили. Нил не разлился.*

*Закатилась луна бауна, истек месяц мисра, настал абиб, а Нил застыл, не прибывая и не убывая.*

*Чистая соль выступила из сельской почвы. В затхлых излучинах завелись злые черви. Люди начали гибнуть. Размножились крысы.*

*Так прошел еще месяц.*

*Все находилось в прежнем положении, и Амрабналас решил дать знать повелителю правоверных Омару ибн-ал-Хаттабу:*

*«Нил не разливается от здешнего суеверия, которое я уничтожил».*

*Вскоре пришел ответ Омара:*

*«Амрабналасу.*

*Отмену суеверия одобряю. Дальнейшее спусти в Нил».*

*А тем временем в неувлажненную теснину двинулись пустынные пески, и море стало пожирать дельту. Ведь Египет покоится на нильских наносах. Раньше здесь был соленый залив с пустыней по побережью. Увидев, что пески и море готовы отнять у мусульман землю, военачальник поспешил к*

*воде с нотой халифа и кинул в реку.*

*В послании стояло:*

«От Омара. Нилу египтян.

Ты был суеверен и разливался. С отменой суеверия не разливаешься. Повелеваю разлиться».

*На другой день река бурлила выше верхушек всех ниломеров.*

*Так упразднилось нильское суеверие.*

– Мне только жаль – продолжал Авель – что нет указания на точное место потопления манекена. Наверное у Слонового Острова, где когда-то стоял иудейский Храм Супруги Господней.

– Почему именно там?

– Из суеверия. Полвека назад там воздвигли самую высокую в мире плотину. С тех пор Нил не разливается со всеми последствиями в отношении людей, крыс, червей, для земли, для воды и для устья.

– Жаль, что нет между нами такого Омара. Кругом одни скопцы.

– Если послушать, что говорит Амрабналас о его эпистолярном подвиге, право, стоит пожалеть, что Омар не с нами. Смотри как хвалит халифа его честный эмир:

По воле Омара, сына Хасамы и ал-Хаттаба,  
Учинил Нил на горах харакири –  
Рассек брюхо и вырвал потрох,  
Вытряхнул мозг и взбил его с салом,  
Истек мочою обильней ливней  
В русло потока до губ дельты  
Но Омар лишь глотнет – и нет Нила,  
Опустеет пучина, обнажит лоно,  
И, словно омар, сухими ногами

Сучит Омар уж на мелком месте.  
Не так ли это, о народ Аллаха?  
– Воистину так, и Аллах – свидетель!

## ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Эти события обострили многие грезы, бывшие до того в состоянии умеренного подогрева.

Например, космонавт Сытин еще не узнал, откуда берутся бессмысленные стихи, а это был вопрос далеко не праздный. Когда на деле подтвердилась глубокая нелепость иноязычного словоупотребления, мыслящим кругам пришлось высоко задраить полы кафтанов. Спор, конечно, возник раньше, задолго до того, как Продвинутый вывел на подмостки литературной теории свою фалангу кастратов. В чемпионах борьбы тут значились имена великанов, как Хлебников и Ломоносов, не говоря о туче ничтожеств середины столетия, которые воинствовали против римских и германских корней не из убеждений, а за деньги. Однако даже такая мелочь как деньги выглядела важной космической сущностью по сравнению с ничтожным стишком, из-за которого пришли в волнение текущих дней высокие умы.

Но расскажем все по порядку.

Когда полосатые философы летели на охоту за кваггой, их самолет сел ненадолго в Каире. До нового вылета оставалось несколько пустых часов, и Козлов отпросился у Калганова пройти по торговым рядам, которые тянулись от взлетной полосы через пустыню до самой окраины, где уступали место более основательным лавкам. Делать закупки Козлов намерения не имел, а хотел только потешиться зрелищем изобильной

восточной роскоши. Но тут порыв ветра поднял волну раскаленного песка и бросил ему в лицо. Козлов зажмурился, протер глаза и обнаружил, что не он один пострадал от шалостей стихии. Маленький слепой копт, сидевший с плоской корзинкой у самых ног прохожих, лишился всего своего достояния. Вихрь вынес в воздух какие-то клочки, которые их хозяин, видимо, выдавал за образцы местной письменности, и разметал где попало. Копт ползал на коленях, пытаясь наощупь собрать то, что еще можно было спасти. Козлов, из сочувствия к несчастному, тоже пополз за обрывками, брал один за другим, возвращал владельцу. Потом достал монету и вложил бедняге в ладонь. Нищий поднял лицо к небу, пошарил в корзине и дал Козлову что-то скомканное и помятое. Чтобы не обременять себя лишним грузом в дороге, Козлов сунул нечаянную покупку в конверт, послал в Москву, тут же забыл обо всем и улетел на юг с Ословым и Калгановым.

Фрагмент попал в нужные руки. Опытный глаз козловского адресата различил на нем несколько знакомых значков. Остальное довершили современные методы: незримые лучи, химия, углеродный анализ, выявив на бумажонке строку греческого лирика из круга Гиппонакта. Речь там шла об одном наивном человеке, который прибегнул к помощи хирурга в обстоятельствах, требовавших лишь его личной находчивости.

Язык ямбов был прост, груб и прям. Переводчик встал перед задачей передать его далеко не александрийское содержание. Как перевести греческое слово «хирург»? Ему предлагали так и перевести: хирург. Но переводчик (им оказался на счастье Авель) это немедленно отверг.

— Я должен перевести на русский язык, а не переписывать русскими буквами.

Вникнув в первичное строение, Авель вскоре нашел блестящий выход: хирург это рукусуй. Готовая строка выглядела точно как в оригинале:

Пал он в ноги к рукоую  
.....

Издатели трудов Гиппоакта с восторгом приняли стишок к себе в новый том приложений.

Первый удар пришел с неожиданной стороны – от ревнителей чистоты словаря:

– Хирург это не рукоуей, а костоправ. А рукоуей звучит непристойно.

– Где ж там кости? – недоумевал Авель.

Но кто окончательно испортил дело, так это цензура. Сухой неумный чиновник, цензор Когдай, в последний момент выкинул все буквы, стоявшие на месте многоточия. Возмущенное общество вскипело. Пошли доносы властям в том духе, что вообще иностранные слова звучат гнусно и скверно, вот как – тут подоспела история с Продвинутым – «кастрат». Авель теперь тоже занялся переводами с латыни:

Кто ни кинь метает кости  
В ножны к неженке-жене.

Звон проник в газеты, и через неделю вся страна бубнила наизусть дребедь, предназначенную лишь для самого узкого круга специалистов.

Власти расшевелились. Цензора Когдая, самодура и невежду, погнали в шею. Создали комиссию по очищению от всего непристойного, куда должны были входить представители крупных профессиональных групп. Сытин, разумеется, отвечал за космическую терминологию.

– И ничего не могу – говорил он нам. – Ничего не выходит. Покажите хотя бы, как подойти.

– А вы уже пытались? – спросил я. – Что именно?

– Космос. Хаос... Посмотрел в словарь. Там по англий-

ски написано: хаос – дизордер. А про космос – что-то такое общее, пустые слова. Ладно, думаю. Разберусь хотя бы с хаосом. Дизордёр ведь неплохо. Звучит по-русски как мародёр. Несу им дизордёр. Они говорят: похоже на живодёр, однако не по-русски. Я им аргументирую: хаос – это же мародёр жизни!

– Нет, нет, нет у нас такого слова «дизор». Это, скорее, марка заграничного ликера. И вы не огорчайтесь, космонавт. Нам недавно социопсихологи «невермор» принесли на место фатализма. И звучит, и по значению совпадает, а все равно пришлось им уйти.

– Почему? – спрашиваю.

– Напоминает о Беломоре.

– А удачных примеров вам не показывали? – спросил Абель.

– Ваш пример определили как очень удачный. О руко-  
суе. И все приговаривали: «Космонавт, смотрите в корень!» А я и сам пытаюсь в корень, только где здесь корень, не вижу, как ни стараюсь. Вот, астрожабль – где тут корень?

– Погодите с астрожаблем. Начнем с простого. Как у них теперь называется автомобиль?

– Вроде, самоед.

– А мотор?

– Задвизь. Заставляет двигаться.

– А бензин?

– Представляете – пых. Объяснили, что вспыхивает.

– Задвизь он пыхом залил у своего самоеда – просмаковал Абель действие на самоедской стоянке. – Они хотят, чтобы вы работали с корнем словесной части.

– Это-то я понимаю – нахмурился Сытин. – Только что же я мой астрожабль звездодуем должен звать?

– Не вижу ничего ужасного. Выкидываем все лишнее, получаем вполне приемлемый «звездуй». А спейсдрилл (быв-

ший мандрилл) мы переименуем. конечно, в широсквоз. Скотопеллер – в черногон, вакуум – в «пусть»: он же пустой – вакуум.

Пусть сквозь пусть на широсквозе  
К нам плывет устоеплав

– хороводом поют девушки в Оглодадах.

– Что такое «устоеплав»?

– «Космос» мы переводим в «устой», а устоеплав – это вы, космонавт. Вы же в нем плаваете...

– И все-таки я предпочел бы по-прежнему считать себя космонавтом – заявил Сытин.

– Будем терпеть. Кондитерам еще и не такого досталось. Про слахарь не слыхивали? – посочувствовал Апель.

О кондитерах слыхал и я.

Там началось с «комментария» – термина не кулинарного, а философского – когда взамен нашлось природное слово «объясень» с древовидным корнем породы «яшень». Отсюда вырастили целый куст флористических аналогий: одуб, оклен, обук, обольха, обива, объель и стали думать, как поступить с этим богатством.

Обук приняли вместо университета.

Потом позвали слахарей и указали им, что объель это аппетит. Те, в поисках за десертом, уже сами набрали на обсосенку. И тут, по неисследимым и вольным законам речи, из бездн ее стали всплывать новые разболтанные буи.

В ученом мире, населенном людьми без слуха, но не без вкуса, давно пытались – опершись на поверхностную омонимию и прозрачную функциональную семантику – переименовать в «десерт» диссертацию. Слово не прививалось и бытовало больше по курилкам. Но отведав в буфете обсосенку, обездыхи (аспиранты) сразу догадались, что их чаяния наконец-то обретают убедительную художественную оболочку.

Как там с обсосенкой у вас?  
Обдуб?! Оклен или обвяз?  
Ограб... Готова ли обива  
В облип? И скоро ль окрапива?

– То есть «банкет по случаю» – привел Авель объясень на окрапиву.

– Так можно сказать и «обоб» – возразил Сытин. – Смысл-то должен быть хоть мало-мальский.

– Смысл всегда найдется или возникнет. Но давайте обратимся вспять, к устоям. Вернемся в космос. Какие у вас еще там термины?

– Термины... Вот видите: «термины». Да взять хоть «вакуум-контейнер».

– С термином трудно. Иногда пишут «поп», «поставить на попа» или «дурак» – «валять дурака». Но и поп у нас от греков и дурак от римлян. Плохо, плохо с термином.

– А с контейнером?

– Лучше. Здесь намного лучше. Лучше всего – содержан. Тогда вакуум-контейнер назовем «содержан без содержания», как-нибудь так. Или нет. Громоздко. У нас ведь вакуум это «пусть». Ну так пусть так и говорят: «содержан пусти». Стишок для примера:

Содержан пусти  
Не дает взлететь –  
Ты не ставь, дурак,  
На валять попа

если он перегружен избытком вакуума. Это, стало быть, о контейнере. Остаются еще небесные тела: планета – плавея и комета – гривея. А со звездой ничего делать не надо: звезда и есть звезда.

– Легче мне было бы лишний раз слетать на Деревянную Плавею – скупю улыбнулся устоеплав Сытин.

– Не ворчите. У вас довольно вещественных доказательств на первое время. Ну а потом видно будет.

### *Отзвук в Октавии*

*А там, где все мысли мгновенно воплощаются, там седьмого неба выше, на изумрудной равнине Огдоад водят хоровод простые девушки в белом.*

*Руки – гуси, ноги – лебеди.*

*Посередине дерево с золотыми яблоками, с листвою зелени зеленей, с золотыми яблоками.*

*И не птицы так поют, поют девушки.*

*Строгими глазами смотрит на них София Пистис, тоже вся в белом.*

*А те по кругу блуждают, плавают и не улетают.*

*И поют. Кругом поют.*

*Пенье их рисует рябь на синей озера воде, что плещет выше над холмом-пригорком.*

*Песня чертит кружево, распугивает рыб, и рыбы девушкам от страха подпевают, рыбы белые поют.*

*А неба нет над ними, выше неба они.*

*И поют выше.*

*Мы тканым воздухом порхаем*

*Трясем гусиный лик руки*

*И песней ветреною таем*

*Над синим озером реки*

*И пенье кружево круженья*

*Плетя по зелени виет*

*И древа карусель движенья  
Сливает в золотистый плод*

*Пусть ноги лебедя убожи  
Пусть нету рыбам птичьих прав  
И пусть сквозь пусть на широквозе  
К нам приплывет устоеплав*

*– Ой – говорит одна из девушек – голова закружилась... Неужто скоро космонавты?*

## буря

Бывает, в решительные минуты человека охватывают совершенно посторонние мысли. Это случилось с Козловым перед входом в Левого Страуса.

Почему – думал Козлов – считают, что небесные тела подчиняются закону обратных квадратов? Разве кто-нибудь видел хоть одно тело, которое выписало бы в небе квадрат?

Почему – думал далее Козлов – говорят, что у каждой твари на суше имеется такая же тварь среди звезд и в глубинах моря? Бывает морская звезда, встречаются звезды и в небе, а вот о сухопутной звезде мне что-то слышать не приходилось. С другой стороны, еж может быть и морской, а вот небесных ежей не бывает.

Правда ли, что – продолжал он размышлять – черные дыры достаточно черны, чтобы оправдывать свое прозвище?

Остальные члены отряда с нетерпением ждали Ворону, и она появилась.

Но отчего потускнел воздух и порывисто затряслась

почва?

Ворона летела неровно. Она хромала, припадая серым крылом, ибо ветер дул вверх, из недр в небо. Кругом быстро смеркалось. Пыль встала столбом, и путники оказались внутри колонны, в окружении терявшей очертания вертикальной массы. Вскоре она расплылась в бесформенный ком, в котором направления вверх или вбок уже едва ли можно было установить по тому, куда свисали головастые члены и обувь.

– Конец света!

Верхний культурный слой, возделанный столетними трудами гимнософистов, изъезженная, изъеденная, многократно переваренная труха из костей поэтов, волокон бумаги, молекул типографских пигментов, атомов графита – вся обработанная земля взмыла ввысь и смешалась с ветром и небом.

Казалось, ощущающие агенты могли засвидетельствовать одну беспорядочную смесь, но то было лишь первое впечатление. Время от времени среди органов чувств различалось мельканье кое-каких оформленных видов: ухо, горло, нос, конец фразы, часть речи, обрывок суждения. Случалось, им удавалось сцепиться на один застывающий миг, и возникало химерическое явление: расцветающее на сгибе ног ухо, глаз, присосавшийся к концу фразы, совесть в квадратных скобках, желудок мелодии...

Вон голос, ноги и право совокупились и родили право голосовать ногами. Там ухо, распустившись на колене, успевало перед тем как увянуть, произнести нечто в неустоявшемся метре и жанре:

Залил Кузнечнику суставы ножек воском  
Естествоиспытатель и неколебим Кузнечик сей  
Допустим словно новый Одиссей  
Уплыл Сирен на сладострастный остров.  
Но цел и невредим вернулась Саранча.

А Педагог отсюда заключа  
Что вывод налицо, злорадствует, орет: Клянусь богами!  
Членистоног-то слушает ногами!

А там уже плывет новая фигура памяти: воплощенная грамматическая категория совершенного прошедшего, а на вид – исторический идеал, краеугольный камень утопии.

Кроме этих эфемерных слияний и вялых распадов нутром пыльной бури правили более общие закономерности. Где-то столпилась чуть более плотная муть, положив начало росту рыхлого сгустка. Вокруг потянулись рваные кольцевидные слои. Эти полосы вскоре рассыпались в крупные капли, причем внутренняя темень стала понемногу светиться, а окружающая – стынуть и охладевать. С течением времени срединное пламя приняло вид желтой карликовой звезды с черной дырой в невидимом центре. Холодных шаров насчитывалось штук шесть-семь. Они плыли по кругам, сообразуясь с законом обратных квадратов.

Однако и силы чистого случая – наряду с правилами небесного бильярда – продолжали действовать в этой обновляющейся вселенной. Само собою сложилось так, что центральный огонь пристыл к вакантному имени Левого Страуса. В наибольшем от него отдалении, восседая на планете Сатурн, величаво покачивался Жертва Поимки. Между ними суетливо метался Виденнега Ошипевейский, который – в согласии со своей двусмысленной природой – близ воинственного Человека-Гиены принимал образ Вороны-Венеры, а чуть отлетев, смотрел Меркурием.

– Законы Природы лишний раз демонстрируют свою неизменность – сказал Юпитер-Калганов.

– Ждем Ворону.

Венера взошла прямо у них над головами.

– Да какая же это Венера, если ясно видно, что он Мер-

курий – задумался Жертва Поимки.

– Вот мы и заглянули Контрапункту под хвост... – меланхолически отозвался один из спутников Юпитера.

– О, Господи...

– ... и несмотря на это, пришли к выводу, верному лишь наполовину.

– Я имел в виду сходство, которое земные тела обнаруживают с небесными – сказал Сатурн.

– Так кто же из нас будет первым?

Выделявая в небе спиральные круги, планеты устремились к центру тяжести. Уже виднелось белоснежное нижнее оперение с рисунками жуткого инея.

– Хорошо бы попасть с первого раза! – с этими словами Козлов нагнул голову и ринулся в средоточие плотного свечения.

– Пропп! – его вышибло оттуда как пробку. Следом вылетело облако пылающей пыли серым клубящимся протуберанцем.

– А где у него голова? – воскликнул Ослов.

– В дорогу! В дорогу! – закаркал Ворона.

– Может быть вы, товарищ Контрапункт, и покажете? – спросил осторожный Калганов.

– Проходите! – хрипел Меркурий. Его воронья морда вдруг сделалась удивительно похожей на собачью. – Я пропускую!

Калганов взглянул на Ослова. Тот последовал путем своего неудачливого коллеги и с тем же успехом. Перья хлопнули так, что Ослов кубарем катился до самого неба Сатурна.

– Не пропускайте! – издевательски хохотала Венера.

Жертва Поимки внимательно обдумывал происходившее в неприступном свете на входе в черную дыру.

– Мы ломимся в открытую дверь.

– Хотите попробовать?

– Да нет же! Здесь нужен «естественный человек».

Калганов обернулся к Марсианской Гиене, который только и мог претендовать на роль главного героя эпохи Просвещения. Дитя Природы изготовилось.

Едва рассеялась туча пламенеющего пуха после очередного выхлопа, Кчсвами нырнул в разверзавшуюся страусову воронку. За ним, цепляясь за хвост, гуськом устремились Калганов со спутниками, Сатурн, Мизинец Г и Венера, замкнувшая устремленную к роковой доминанте мелодию сфер хриплым гортанным контрапунктом.

Свет в их глазах распластался на миг в беспредельную белизну, которая тотчас сменилась крошечным мраком.

## Наш шаман

Предшествующая и дальнейшая роль Онга, перед самым носом которого захлопнулись перья страусиной воронки, так и осталась бы неясна, не попали на глаза читателю нижеследующие тексты.

Первый из них, о Жабе, изображает географическую сторону в связи с побуждениями нашего шамана.

Второй – эпическая «Песнь о Хасаре» – говорит об истории.

Для пушей важности я снабдил их научным аппаратом, ибо требовать от читателя, чтобы он самостоятельно расследовал механику сверхъестественных явлений, относящихся к культуре, существенно иной чем наша, было бы просто бесчеловечно.

Итак, перья захлопнулись перед самым носом у Онга.

## Жаба

Жаба о десяти ладонях в поперечнике водится у нас в Васюганье.

Летом она ходит по болотам, а на зиму замерзает. Питается Жаба Гнусом. Язык у нее как оленин сапог.

Между Рифеем и Обью лежит Васюганье. Две тысячи верст вокруг, вдоль и поперек – одни гнилые болота, с севера – ледяной Океан, к югу – камень пустыни.

Жаба обитает ближе к середине пониженной местности.

Когда она захочет поесть Гнуса, то открывает только пошире ртище, выкатывает язык и ждет, пока налипнет. А там – глотает.

Привычки у Жабы медлительные, как и подобает созданию, которое проводит большую часть года во сне. В эту пору в болотах открывается навигация: одетые в валяный мех люди катятся по водной глади в саних или на лыжах под парусом.

Но приходит весна, а с нею – пора царить Жабе.

Люди теперь все сидят по домам. Отгает Жаба и выходит наружу. Тут она размножается: кладет головастика. Они кишмя кишат по болотам, под каждой маленькой кочкой – множество будущих Жаб. Тем временем вылетает Гнус. Люди еще теснее запираются в своих жилищах, вся заболоченная тайга звенит как симфонический оркестр. Гнус свирепеет, а молодым Жабам – раздолье: вылезут на край воды, разинут липкие рты и ждут осени.

Осенью чернеет вода болот, Гнус исчезает, люди отпирают двери и судят:

– Экая, право, Жаба.

Вот наступает зима и в Васюганье.

## Песнь о Хасаре

Чингисхан, хан могучий, хан вселенский  
Покорил безбрежное пространство  
От восточного до западного моря  
Ото льдов и до пустынь огнистых  
Где кипит над песками мертвый воздух.  
А у хана был брат – великий лучник  
Именем Хасар. Стрелой со свистом  
За версту мог орех с верхушки кедра  
Раздробить не повредив ядра он  
10 И не ведал что такое промах.

Вот зовет Чингис Хасара-брата:  
Что мне все над степью да над степью?  
Я хочу над самой Крышей Мира  
Пронестись, да над теменем Тибета,  
Да унести супругу Штырь-хакана,  
Государя вольного тангутов,  
Змей-Красавицу, белей которой нету.  
Так добудь орла, Хасар, о брат мой,  
Подари мне, Хасар, орлиных перьев  
20 Оперен чтоб крылатою дохою  
Я в кривых когтях вертлявую похитил.

А меж тем парит поодаль беркут.  
И воздел Хасар свое оружие  
Слышен свист – но как на грех из речки  
Тут как тут баклан взлетел воючий  
И к ногам великого Чингиса  
Сбитый невпопад стрелою брата  
Пал плашмя как в тину дохлый окунь.  
Следом, вторя мерзкому знамению,

30 Ухнул сыч. И хан орет напуган:  
Бей сыча! Бей птицу злого счастья!  
Стонет тетива, и снова тщетно:  
Не сыча, а милого удода  
Ведомого вестника удачи  
Пригвоздил железный наконечник.

Молвил хан: Увы, ужасна зависть!  
Подозрителен мне вредный глаз Хасара,  
Счастье погубил желая зла он –  
40 Он мою хатунь хватал руками,  
Чтил хакана лапами баклана,  
Перьев не несет, орлов не ловит...  
Приковать его к арбе скрипучей!  
Не давать ни воды, ни хлеба!  
Пусть он гложет жилы дохлых яков,  
По утрам с железа иней лижет,  
Днем в тени меж колесами ночует!

Во главе двенадцати тюменей  
На Тибет Чингис идет походом  
Не в орлином тулупе, так в копытах  
50 На Тибет он не летит, а скачет.  
Встала в полночь каменистым кубом  
Перед ним огромная громада  
Высочайший лоб глубокой мысли  
Поутру явил бульжжный череп  
Две дыры, две угольные ямы  
Две дороги сквозь тусклые орбиты  
В пустотелое нутро его уходят.  
Но стоит вращая третьим глазом  
Меж глазниц на переносье ведьма  
60 И поносит хана гнусной бранью,

Скверным словом наводящим порчу.

70 Будь ты, Мировой Хозяин, проклят!  
Ты, что на коне сидишь как жаба  
Уперев горбы в кривую спину!  
Видно мать твоя стонала под верблюдом  
Вороша змею во вшивой юрте!  
И не зря в ту ночь собаки выли  
Хором под дуплом на дух хорьковый –  
То-то сам ты скалишься ошерен  
Полупсиной-полусучьей харей!  
Где набрал ты войска эту сволочь?  
Или мать твоя мочилась в муравейник  
Чтобы мы тут кислотину давили?  
Муравьев ворожея злобно топчет –  
Стали гибнуть ханские тюмени  
Из двенадцати чума взяла двенадцать.  
Как тут быть? Раздался крик приказа:  
Эй, доставить мне сюда Хасара!

80 Что за скрип на глиняных дорогах?  
Отчего былые степей поплыло пылью?  
Это лучник идет в Тибет в телеге  
Это лучший стрелок скрипит арбою.  
Год лизал он с оков железных иней  
Год жевал сухожилья павших яков  
Отощал он, стал он словно остов –  
Перед ханом как скелет стоит качаясь.  
Хан сказал: Вон мишень тебе на случай!  
Видишь мымру? В пуп стрелу и вбей ей!  
В третий раз шуршит Хасар в колчане  
90 И старуха рухнула с уступа  
Но Хасару уж ни лука, ни тетивы,

Ни узды, ни седла и ни кумыса...

А Чингис – к ведунье полумертвой,  
Под скалу: Идти, скажи, куда мне?  
Слышит: Как дорогой правой выйдешь,  
Так дойдешь до Шамбалы волшебной  
Там сидят двенадцать мудрых гуру  
Против них – двенадцать верных риши  
И твердят согласным хором мантры  
100 В унисон двенадцати махатмам.  
А когда пойдешь дорогой левой,  
Выйдешь прямо в царство Штырь-хакана  
А тангутский царь – шаман бывалый,  
Перевертень-оборотень хваткий,  
Трижды в день меняет шкуру бубна:  
Утром ходит золотистой коброй  
Днем гуляет крапчатым гепардом  
А потом как белокурый отрок  
Возится всю ночь с своей хатунью.  
110 А с тобою, чадо Есугая,  
То же будет, что со мною было!

Закатив глаза свалилась навзничь,  
Пала на спину бесстыдная колдунья  
А из срама у ней снаряд Хасара  
Смотрит в небо сизым минаретом...  
Чингисхан орлиному охвостью  
Усмехнулся: Целил в пуп – попал пониже,  
Всё-то мимо с этими стрельцами –  
Так и нас да минует бабий говор!  
120 И ушел он в Си-ся дорогой левой.

А Хасар пошел да подпевать махатмам.

## Именной и географический указатель

Васюганье – центральная и важнейшая часть Всемирной Монгольской Державы.

Есугай – родовитый монгол, отец Темучина.

Змей-Красавица – приблизительное значение имени, которое носила царица Си-ся.

Крыша Мира – высокие горы, отовсюду окаймляющие Тибет.

Си-ся, то есть Западная Ся – китайское название царства тангутов.

Тангуты – народ тибетского происхождения.

Темучин – собственное имя Чингисхана.

Тибет – горная страна.

Тюмень – военная, а также административная единица у монголов. Нынешняя Тюмень – столица Васюганья.

Хакан – то же, что и хан. Хатунь – жена одного.

Хасар – младший брат Темучина.

Чингисхан – титул Темучина, который он получил, будучи поставлен владыкой над монголами. Точное значение не установлено.

Шамбала – смотри в разделе «Объяснение шаманских реалий».

Штырь-хакан – последний правитель Си-ся.

## Объяснение шаманских реалий

Ст. 1 – 5.

У монголов все равнины, возвышенности и невысокие горы, словом, «степь», выглядят как средний слой мироздания. Себя же монголы видят здесь хозяевами.

Посреди степи располагается Васюганье.

Ст. 6 – 10.

Чингисов брат отождествлял себя и со стрелой, и с мишенью, а потому попадал на любом расстоянии.

Ст. 7.

Полые наконечники монгольских стрел имеют ряд проделанных отверстий. Эти смертоносные флейты издают в полете разные мелодии, которые переходят затем в нарастающий ревуший свист.

Ст. 11 – 21.

Земля – труп Мирового Человека. Тибет – череп трупа. Штырь-хакан правит не степной, а горной областью. Чтобы достичь ее, Владыка Степей должен превратиться в орла, откуда у него и нужда в орлиной шубе.

Жена Штырь-хакана была красивейшей из женщин. Дочь Духа Гималайских снегов, свою белизну она унаследовала от отца.

Ст. 22 – 28.

Великие монголы смотрят на рыбу, как на презренную пищу, а на питающуюся рыбой птицу – как на презренную птицу.

Ст. 29 – 35.

Пернатые, если они пестры – как дятел, сорока или удод --

служат вестниками добрых предзнаменований. А совы, сычи, филины и неясyti предвещают зло.

Ст. 36 – 38.

Тангутскому государю завидует сам Чингисхан.

Ст. 39.

Ходил слух, будто однажды на пиру Хасар пожал ладонь братней хатуни.

Ст. 40.

Под хаканом подразумевается Чингис, под бакланом – Хасар.

Ст. 41.

Длина оси между колес монгольской кибитки достигала двадцати шагов.

Ст. 42 – 46.

Монголы ни при каких обстоятельствах не выбрасывают остатков пищи и не льют на землю воду. Ограничивая брата в еде и питье, хан хочет вывести из его тела все примеси вредных намерений.

Ст. 47.

Личное войско Чингисхана насчитывало сто двадцать семь тысяч всадников: двенадцать тюменей по десять тысяч человек и семь тысяч ближней охраны.

Ст. 48 – 57.

Польй череп Тибета обращен лбом к подступающему с Севера чингисханову войску. Правая орбита ведет на Запад, к мертвому знанию, левая – на Восток, в область умерщвленных чувств.

Ст. 58 – 59.

Эта мертвая душа трупа земли изображает собой так называемый «третий глаз» Тибетского черепа.

Ст. 60 – 70.

Впечатления в миг зачатия влияют на вид взрослого плода. Проклятия ведьмы обращены к этому мгновению.

Ст. 63.

О жабе смотри выше, в разделе «Жаба».

Ст. 66.

О шивых юртах на Великом Шелковом Пути подробнее говорится в книгах по истории вопроса.

Ст. 70.

Лицо Чингисхана было оторочено огненнорыжей растительностью.

Ст. 71 – 76.

Симпатические манипуляции над муравейником в обоих случаях имеют в виду живую силу ханских отрядов.

Ст. 88.

Мымра – старая баба-оборотень.

Пуп – средоточие жизненных связей любого организма.

Ст. 89 – 92.

С третьим выстрелом (первый – в орла, второй – в сына) жизненные силы Хасара совершенно иссякли.

Ст. 92 – 94.

Перед смертью колдунья должна выложить Чингисхану всю

правду.

Ст. 96 – 100.

Шамбала находится в особой полости под Западным Тибетом. В ней обитают тридцать шесть святых мертвецов, заклинанья которых обеспечивают верный ход и порядок вещей во Вселенной.

Гуру – святые наставники.

Риши – святые подвижники.

Махатмы – святые правители.

Мантры – ритмические формулы для молитвенных мельниц.

Ст. 101 – 103.

Си-ся или Западная Ся – Тангутское царство, которое располагалось под Тибетом, в восточной части.

Ст. 104 – 109.

У Штырь-хакана имелась на бубен шкура трех видов: змеиная кожа, гепардов мех и человеческий скаल्प. Под их рокот он попеременно принимал соответственные обличья. Превратившись в дракона, Чингис напал на кобру и на гепарда – обернувшись тигром, однако без успеха. Но когда наступил вечер, и Штырь-хакану пришлось стать бледным юношей, в юрте у него оказался трясущийся старичок. Следуя законам гостеприимства, тангутский царь предложил ему дары на выбор, по желанью. Старикашка – а это был, конечно, Чингис – потребовал жизни, жены и царства. Тот не мог отказать. Чингис, однако, должен был владеть всем в том самом образе, в котором оно ему досталось: он не имел ни силы, ни права менять свою наружность и вынужден был оставаться старцем.

Ст. 110 – 111.

Это нелепое проклятье, тем не менее, исполнилось. Смотри

ниже.

Ст. 112 – 115.

Третий выстрел Хасара изменил пол колдуньи. Заклинанья шаманов превращенного пола были необратимы. Когда старец-Чингис вознамерился вступить в брак со вдовою Тангута, та предложила ему прежде сделаться моложе. Под таким предлогом Змей-Красавица взяла раскаленные щипцы и оторвала жениху все признаки мужественности. Затем она вышла, якобы, закалить клещи и унеслась вверх по ледяной речке, не завершив операции. Теперь Чингисхан сам стал вроде старухи и скоро скончался.

Минарет – двусмысленный столп, который на Востоке употребляют в самых разнообразных культовых видах.

Ст. 116 – 119.

Чингисхан хочет свернуть речь старухи впустую.

Ст. 120 – 121.

Здесь навсегда расходятся пути двух братьев.

## ПОСТАВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ

Предложенного материала вполне достаточно. Любому ясно: Онг Удержжи Ветер мечтал о восстановлении власти своих духовных предков над Васюганьем.

Эта область, однако, находилась под юрисдикцией Москвы, а у Доржиева не было ни одного тюменя, чтобы направить на Москву и сжечь. Выход, который пришел ему в

голову оказался поэтому в плоскости династической символики: его воспитанник должен был лично прибыть в имперскую столицу и заключить выгодный брак.

Те, кому покажется дикой логика честолюбивого азиата, пусть примут во внимание, что это был способ рассуждения шаманский, а не гражданский.

С цивилизной точки зрения брак Тарбагатая, женись он хоть на племяннице самого – как говорили эпохой ранее – Заглавного Змееглота, ничего не прибавил бы к политическому весу шаманской породы на пространствах между Рифеем и Обью. Но Онг и не хлопотал о праве разводить постовых милиционеров в Тюмени. Не этого он добивался. А никаких других признаков политической власти Москвы над Васюганьем не существовало вообще никогда.

Реальная власть, по крайней мере в те сезоны, когда обнажалась почва и вода становилась жидкой, здесь принадлежала Жабе и Гнусу, сменявшим друг друга подобно римским консулам в эпоху Республики. Катанья зимою на лыжах под парусом имели поверхностное значение, земли не касались и в счет не шли. Поэтому в рассуждении о такой очевидной абстракции, какой является власть над Васюганьем, единственным неживым предметом, задевавшим интересы Онга, был только полосатый пограничный столб между Европой и Азией, воздвигнутый в незапамятные времена на самой вершине Урала.

Я уже бегло касался происхождения этого столба в поэме о победе Каракаллы над Гиппотигридой. В нижеследующей Исторической Справке интересны лишь две-три подробности, посредством которых можно будет поставить в связь цель экспедиции полосатых философов за выцветшей зброй с тем любопытством, которое испытывал Доржиев к ходу их естественно-научной поездки.

## Историческая Справка

Тит Аурелий Фульвий Бононий Аррий Антонин Пий, Адрианов пасынок, правил начиная со сто тридцать восьмого по год сто шестьдесят первый и тихо скончался.

Ему наследовал усыновленный племянник супруги: Кесарь Марк Анней Вер Аурелий Август, в прошлом жених Кейонии Фабии, дочери Лукия Элия Кейонния Комода Кесаря, предназначенного себе в преемники Адрианом, но вскоре также скончавшегося и своей смертью открывшего путь к трону Титу Аурелию Фульвию Бононию Аррию Антонину Пию, о чем уже говорилось выше, а позже вступивший в брак с его дочерью Аннеей Галерией Фаустиной и правивший отчасти совместно со сводным братом, отчасти – с сыном Комодом до сто восьмидесятого года, к которому тогда и перешла полная власть.

Этот Лукий Элий Аурелий, он же Марк Аурелий Комод Антонин, переименовал Рим в Комод, убивал львов и сам был убит.

В сто девяносто третьем году правили Публий Гельвий Пертинакс, Марк Дидий Ульянус и, затем, Лукий Септимий Север Пертинакс, которого будто бы усыновил Кесарь Марк Анней Вер Аурелий Август и который назначил себе в соправители Каракаллу, заболел и умер в двести одиннадцатом году. Тогда и произошел поединок с гиппотигридой.

Дальнейшие события развивались вот как.

Трофей победы велено было вывесить на седьмом столбе от Близнецов в Шапках. Новшество привлекло внимание провинциалов.

Все большее число дорожных знаков в городках и вдоль полей и пастбищ украшали наподобие того образцового, что сверкал при въезде в столицу мира. В двести двенадцатом году Каракалла издал эдикт, согласно которому все

*жители Империи становились ее гражданами. Это был верный признак упадка, однако столбы у границ уже одеты были как надо, и государство продержалось еще лет триста.*

## Бубны

Будь квагга обнаружена, под сомнением оказалась бы вся имперская история и география. Чего стоит бесцветный пограничный столб, если его невозможно различить на фоне окружающего пейзажа? Теоретически в определении границ можно, конечно, руководствоваться чувствами, иными чем зрение. Например осязанием. Но столб наощупь неотличим от высокого пня. Можно изготовить соляной столп, какой был водружен некогда ангелами на рубеже между Землю Обетованной и Политией Содомитов. Но тогда гражданам пришлось бы, путешествуя, постоянно лизать все выступающие из почвы зубцы и выпуклости, дабы случайно не пересечь запретной черты. А если принять во внимание устремленность обывателей нашей волости к заграничным проторям и корыстям, легко увидеть, что такой столп вскоре был бы слизан дочиста.

Возвращаясь к зрению и осязанию, скажем, что надежнее всего проводить границы по соленым морям. И действительно, определив Европу, как «выдающийся далеко к Западу полуостров Азиатского Материка, отделенный от Африки узким проливом», мы, уткнувшись в воды Гибралтара, получаем надежный признак, чтобы не путать по крайней мере Европу и Африку. Канал, прорытый к Западу от Синайской Горы, служит той же цели в отношении Африки и Азии. Иное дело Дарданеллы: наиболее проблематичной остается и лонине граница между Европой и Азией.

Где же кончается Азиатский Материк и откуда начинается Европейский его полуостров?

Древние пытались провести искомую черту по водам рек. Но реки, в отличие от морей, часто меняют русла. Какой-нибудь тиран всегда может изменить течение реки в свою пользу. Потоки пресной воды не прорезают сушу сплошь и насквозь, но имеют исток, часто не один. Водораздел поэтому должен быть отмечен чем-то иным, нежели простая влага. И полосатый как шкура зебры-не-квагги столп, прямой потомок столбов Каракаллы, воздвигнутый на верхушке Уральского Рифея, служил своей идее до самых последних дней верой и правдой. Обнаружение реальной квагги могло бы обесчестить весь его род, его же решительно обесценить, а с тем – лишить всякого значения и подвиг дальновидного принцепса.

Поэтому неудачная попытка Онга проникнуть в Левого Страуса вслед за другими членами экспедиции была не просто гносеологическим эпизодом. Шаман вынужден был теперь подумать о том, какую избрать новую тактику.

Будь он твердо уверен, что граница Европы и Азии стерта и смыта, одного юридического присутствия Тарбагатая в Москве было бы довольно для того, чтобы не только подвергнуть сомнению власть имперской столицы над Васюганьем, но и решить сомнение в пользу Васюганья. Однако столп на Урале еще продолжал стоять как был полосатый, и многое по-прежнему зависело от квагги и от фтлософов.

Последних шаман считал своими ближайшими коллегами.

Ослом укушен был Ослов  
Козлов – козлом бодаем  
Баранов был прямой баран,  
А должное воздай им!

Третья фамилия философа была, как известно, не Баранов, а Калганов.

Велика власть мысли над душами человека!

Ослов был укушен на ночной стоянке, когда на них упала палатка. «Прямым бараном» обозвал Козлова Жертва Поимки. Боданья еще будут.

Остов тоже обругал языковые нововведения Авеля: «самоед» значит не то, что «само едет», а происходит от слова «едят» и значит «людоед». Это было бранное прозвище коренных насельников Васюганья, которые якобы друг друга или «самих себя» употребляют в пищу. (Себя) «сами едят», поэтому «самоеды».

Но зачем еще нужна людям власть?

Ответ: чтобы не забыть о собственном существовании. Власть в этом отношении противостоит любви, которая нужна, чтобы забыть.

В течение минувшего столетия власть в Московском Государстве принадлежала философам. И они употребляли ее во зло.

Не мысль рождает вещь, а вещь рождает мысль – так говорили московские философы, и эта их мысль была сущее самоедство, ибо не могла родить уже никакой вещи, например, власти: власть приходилось воспроизводить вне зависимости от мысли, путем насилия над другими вещами. Всех граждан, даже коренных жителей Васюганья заставили твердить философскую схему, сурово карая попытавшихся уклониться. Но Доржиев в воспитательных мерах не нуждался. Он по личному опыту был прекрасно знаком с той вещью, которая рождает мысль. Эта вещь называется шаманский бубен.

Исследователей и классификаторов шаманских бубнов всегда поражало их крайнее разнообразие. Из чего только не делают бубнов! Из кожи нерпы в медвежьих клыках и из шкуры медведя в рогах из моржового зуба, из беличьего меха с копытами сохатого, из бляшек калуги, желудей, шишек, пней, из орехов, из чего угодно. Чуть ниже я приведу описание

элегантного миниатюрного бубна, все части которого были отделаны резным хитином. Им владела некая Мава с Оловянного Острова, получившая литетратурную известность под пером Шекспира. Он звал ее Королевой Маб как раз по причине роскошной коляски.

Но инкрустации или роспись вовсе не представляют непременной принадлежности бубнов. Попадаютя совсем простые, на вид неотличимые от заурядных предметов быта. Об одном шамане сообщалось, что он умел кататься по трём мирам на «сулее стеклом зеленой», то есть на обыкновенной бутылке. Бабушка Тарбагатая бегала к верховьям Енисея в драных резиновых галошах. Невозможно назвать вещи, которая не стала бы бубном в руках шамана. Присоединимся поэтому к ученому суждению, основанному на живом опыте работы с материалом: шаманским бубном может быть любой предмет.

Этот вывод, на первый взгляд холодный и невинный, ведет однако к роковым заключениям.

Даже если принять более чем двусмысленный философский тезис «не мысль рождает вещь, но вещь рождает мысль», невозможно отделаться от вопроса: «какая вещь какую мысль?» Ответа требует простая любознательность. Московские философы, не мудрствуя лукаво, принимали как истину, что вещь рождает ту самую мысль, которой она вещь. Будь иначе – как осуществлять управление державой? А буде оно так – достаточно показывать людям вещи и они тут же начинают их мыслить. Но чего требовать от обычных философов, если даже такой высокий ум среди них как Остов сам недалеко ушел от достойной разве inferнального троглодита идеи: «увидят зебру и поймут». И автор примечаний к «Песни о Хасаре», тоже мыслит в образе грубой аналогии. Чтобы лететь в Тибет, ему, видите ли, нужна орлиная шуба, хотя – с другой стороны – по свидетельству таких знатоков как Набоков и

Пржевальский, тибетская столица Лхаса в их времена просто изобиловала орлами.

Впрочем Шекспир описывает полет Мавы оловянной с немного иным прозрением.

### Из «Ромео и Джульетты»

*Ромео:* Я видел сон.

*Меркуцио:* Я тоже.

*Ромео:* Ты – о чем?

*Меркуцио:* О том, что врут все те, кто занят сном.

*Ромео:* Но истина при них, куда спят.

*Меркуцио:* Так это ж все от королевы Маб!  
Чуть призракам рожать – она уж тут  
Как тут: сама величиной с агат  
В дешевом перстне – акушерка фей,  
В ее упряжке тварей мелкий рой –  
Кишат и спящим нагло в ноздри прут...

Ее возок сверчка крылами крыт  
В ободьях спицы из паучьих лап  
Шлея и возжи – все паучья ткань  
Из лунных струй слезливых свит хомут  
На хлыст берется тараканий ус  
И крепится к колену саранчи

А кучером – в ливрее серой гнус  
В пол-роста гниды, что из под ногтя  
У праздной девы достают иглой  
Сам экипаж – изгрызенный орех  
Точила белка или дряхлый жук  
У этих фей и мастера подстать!

Когда ж несет ее ночной галоп  
Сквозь мозг влюбленных – грезят о любви  
Вдоль ног придворных – грезят о дарах  
По пальцам стряпчих, эти – о делах  
У дам меж губ – тем снится поцелуй  
А то из мести россыпью прыщей  
Карают их разгневанная Маб  
Чтоб изо рта не пахло от сластей.  
Вон – интригану въехала в ноздрю,  
Тот смотрит сон, чего б еще сплести  
То сунет в нос духовному лицу  
От дани паствы поросячий хвост  
А этот видит выгодный приход.

Коль воину вдоль шеи пробежит  
Он режет глотки иль крушит зубцы  
Он грезит об испанских о клинках  
Да чашах по пять ведер. Вдруг трубят  
И барабанят в ухо. Он вскочил,  
Перекрестился в страхе раз-другой  
И снова в сон.

Еще умеет Маб  
Запутать гриву конскую да так  
Волосья заплести в узлы, что их  
Не расплести, беды не накликав.

Вот ведьма! Сядет дэвице на грудь  
И давит, давит: бремя учит несть,  
Выносливых воспитывает баб...

Да это ж все она!

*Ромео:*

Постой, постой,  
Меркуцио! Ну, полно о пустом.

*Меркуцио:* Да, о пустом... Я говорю о снах...

## Ненужные бубны

По Шекспиру, призрак или душа человека рождает мысль, вид которой предполагается формой души, беременной этой мыслью, а Мава со своим хитиновым бубном лишь ассистирует при родах.

Обогащенный знанием Онг Удержки Ветер вникнул теперь в то положение, будто бы бубном для пробуждаемой мысли может стать все равно какая вещь.

Философам издревле свойственно привлекать собак для подтверждения своих догадок. Вспомним хотя бы платоновскую собаку, грызущую кость ради заключенного в ней мозга или собаку гимнософистов, сосущую мозг, чтобы извлечь оттуда кости. Даже самый жалкий логик легко опроверг бы умозаключение Доржиева: «если с помощью любой вещи можно мыслить любую другую вещь, нельзя ли обойтись вообще без бубна?» Так подумал наш шаман, и его мысль оказалась тем самым бубном, который хотя и мог бы пробудить любую другую мысль, но пробудил именно эту. Логик опроверг бы его на живом примере одной из таких собак. Действительно, «любой» предмет и «никакой» предмет – не одно и то же. У собаки можно отнять ту или иную кость, но попробуйте оставить ее без единой кости. Собака подохнет.

Онг хорошо понимал этот софизм, не говоря о лежащей пониже софизма мнимой очевидности. Из плоской псовой эмпирии следовало бы, что камлающий без бубна шаман состоит в той же пропорции к шаману с бубном, что дохлая собака к живому животному с костями в зубах. С этой стороны сомнений не было. Но Онг вовсе не стоял на том, что «живая собака лучше мертвого льва». Тем менее был он вынуждаем считаться

с подобным оценочным суждением в отношении к шаманам с бубном и без оною. Так ли оно очевидно, что «лучше с бубном, чем без»? И в каком смысле лучше? И ту ли мысль, какую мы ему бездумно приписываем, вкладывал в свои печальные стихи о всемогуществе смерти автор Вечной Книги? Останки льва по отделении его жизненного духа, действительно, не представляют ни интереса, ни особой ценности. Не труп ведь носит добрые качества знаменитого зверя. Но лишь лишив живого льва всяких костей и мяса, сможем мы провести дистилляцию его наиболее драгоценных зверских качеств: мужества, величия, царственной лени. Оставляя в стороне кости, мы возгоняем его достоинства в чистом виде, свободном от всего постороннего – от гривы, когтей или клыков, которые можно в изобилии раскопать на любом львином кладбище.

Из рассуждения по аналогии шаман без бубна тоже выходил самый лучший. Поэтому Онг Удержки Ветер камлал без бубна и не без успеха, который сопутствовал ему до самого Левого Страуса.

Как это часто бывает, Онговы достижения имели с постигшей его неудачей один и тот же корень.

Из сбивчивого и отрывочного рассказа Мизинца Г читатель, возможно, не составил ясного представления, что за птица был этот Левый Страус. Он ведь тоже смотрел на мир чужими глазами, но с позиции, вывернутой наизнанку, в сравнении с той точкой, на которую опирался Доржиев в своем взгляде на бубны, мысли, слова и на прочие вещи. У Левого Страуса был свой собственный чистый идеал. Он полагал, что мысль это такая же вещь, а потому «шаман без бубна» – будучи частным случаем «мысли без вещи» – для него вообще не существовал, был невозможен и полностью исключен. В мире Левого Страуса привилегию «быть» имели одни бубны, а шаманов к ним он считал просто суеверными придатками. Каждая созданная человеком вещь была для него судном без

экипажа, таким носящимся по воле господствующих ветров призрачным Летучим Голландцем.

Своим освобожденным от суеверий слухом он проникал сквозь всю нашу цивилизацию словно в гигантский «бубен без шамана», он внимал культуре как симфоническому оркестру из бубнов, смотрел на нее как на исполинскую коллекцию инструментов, коих мундштуки, однако, торчат не из губ рта, но из обезличенных задниц.

И не просто так, не зря именно по этой причине присвоил он ошипанной Индейской Вороне-Виденнеге пышный титул Контрапункта, того Пункта, в котором воедино сливаются все партии Розы господствующих в мире Ветров.

Он охотно принял в качестве братьев по разуму Жертву Поимки с его Вечным Бубном в черном как содомская смоль переплете, а следом – троицу московских философов, покрытых скотской, словно от руки Каракаллы, татуировкой. Он, можно сказать, распахнул в сладострастном порыве объятья перед Кчсвами.

Но Онга пустить он не мог. Это привело бы к аннигиляции: не стало бы ни бубна без шамана, ни шамана без бубна, ни бубна, ни шамана, словом, опять-таки, шаман с бубном. Себя ведь Левый Страус тоже числил между бубновой мастью, в то время как наш шаман явно ходил по червям.

При полной полярности, Левый Страус и Онг Удержи Ветер были, в сущности, лицами единого лада.

И вот, как мы уже слышали, кольцо сомкнулось у Онга под самым носом, и Левый Страус так и остался для него загадочной и, возможно, пустой костью, которая – выражаясь платонически – обмозгвывает собачью грыжу, эффективным, но малопоучительным фруктом с древа формальной комбинаторики.

## Господин Ту размышляет о наружности привлекательного пола

В каждом существе есть нечто выдающееся, а выдающееся у женщины это ее язык. Те, у которых он покороче, но также и толще, как правило, этот язык, он намного способней. А длинные языки, они же и узкие.

Самый длинный язык находится в земле западных варваров. Там все тела волосатые, особенно у голых. Это не сообщает им выдающейся привлекательности. Тем не менее, и они несут потомство. Их влечение не зависит от привлекательности, иначе как можно такое понять?

Глаза вытарашены, язык вьется на расстоянии отставленной руки, щеки как сырые грибы в масле, груди словно две ободранных нерпы: жирные, сверкают салом. А в животе притаился свернувшийся вниз головой барабаник.

Говорили, будто они несут от медведей или прямо от ветров, но это маловероятно. Ветры существуют лишь благодаря избытку движения земли против воздуха — что им до этих баб? А медведи их разве только облизывают. Мало им своих мохнатых? А тут у иных густые волосы откидываются с макушки вперед так, что закрывают глаза, шею, плечи и рот. Затем они бреют затылок и рисуют новое лицо: губы, нос — как в природе. И вот они ходят вывернутыми пятками, идут на свидание, навстречу с выдающимися из мужей. И те не отказываются от наслаждений с такими уродами! Они им дарят на время свое выдающееся, а эти опять рожают. Как мало здесь нужно ума! И как легко привлечь дарование!

На вершине Сырой Горы растет гриб по прозванию Вялый. Он всегда свежий и умеет перемещаться. Свою грибуху он ищет среди поганок, таких же уродливых, как и он сам. И можете себе представить, ни Вялый, ни эта последняя не испытывают друг к другу ни малейшего отвращения! Кто

другой давно бы захотел новшества в породе супружества, но Вялый волнуется всегда по сходному поводу. А у самых мелких грибов – четыре вида мужчин и женщин. Вследствие их любви в мире существует пиво. Это хорошая вещь, хотя и происходит от отвратительной. Кто пьет много пива, сам станет как тот Вялый.

У толстой женщины внутри всегда должно быть пусто, иначе она задохнется. Одну такую съели неумные существа из Долины Обьедков и все передохли. Долина стоит необитаемая.

Пол имеют также и камни. У них три пола, причем два как у слизней.

Все синие камни – особого пола.

Одни камни зачинают от огня, другие – нет.

Есть еще камни, порождаемые водой. У них бывает свой вкус: у того соленый, у другого горький. Огонь – не камень, поэтому нельзя выразить, горький он или соленый. Он таков, каков он есть, и камни рождают от огня не по влечению, а в силу случайности или удачи. В огне камень может стать текучим.

Грибы не горят.

Однако и грибам случается испытывать влечение к иному полу, но подобно как и у слизней, любой пол для них противный. Грибы едят только слизи и люди, а больше никто. Да еще свиньи. Сами грибы едят трупы.

Между влечением к пище и иными влечениями нет особой разницы, хотя в первом случае приходится звать водяного дракона. Он и подводит нас к вещи, которую надлежит затем принять в себя. Но прежде ее нужно прокипятить, а здесь не обойтись без пламени. На солнце вода не кипит: дракону огня нужна отдельная пища. Все подарки женщинам: камни, цветы и домики съеденных слизней имеют огненное основание. Они и суть пища дракона огня в этом деле. Нужно,

*чтобы женщина разварилась, распарилась. Ее нужно подогреть, а на простом свету она не закипит ни при каких обстоятельствах.*

*Стыдная часть у женщин наружу не выставляется и имеет вид камбалы с перекошенным ртом, не как у мужчин, которые ими пользуются вместо женского языка.*

## птичий эрос

– Почему пишешь ты Повесть о любви, а эротических описаний в ней нет? – осведомился Авель.

– Потому что это неясно – ответил я. – Сочинители умеют уговорить, что вот они сейчас вам преподнесут этакую эротическую сцену. Однако они дают, конечно, один только глумливый обман, ибо преследуют цели вовсе не любовные. Насколько возвышенны наши чувства при взгляде от себя, настолько же сомнительны и уродливы они для постороннего. Или смешны. Я-то думаю, что большая часть страстных изображений придумана в насмешку. Можно, правда, согласиться, что бывают и более зловредные цели: показать и обличить нравы общества, сделать вид, будто умеешь толковать свободно о чем попало. Изображают даже собственные чувства – вроде третьего человека – только не эротические, а какие-нибудь другие. Рассмотрим внимательно сцену в известной драме, которую все считают за любовную, даже за некий пик. Разговор на рассвете в потемках касается голосов птичьей породы, звучащих из окна с балкона:

– Я думаю, что это воробей

– Скорее дрозд

- Нет, все же воробей!
- Какие воробьи в такую пору?
- Кто кроме воробьев в такую пору

поет?

- Дрозды
- Да нет же, воробьи!

и так далее.

Разумеется тут пылкая страсть налицо. Всем ясно, что влюбленный должен бежать, но хочет отсрочить мгновение. Можно не продолжать?

– Нет, нет, продолжай!

– Но если драматургу приходится с помощью простых подмен подставлять воробьев под чувственное зрелище, не о том ли это говорит, что во-первых интимный вид должен в самом своем существе иметь способность покоиться на воробьях, мышцах, кроликах и разных других животных, а во вторых, что попробуй мы раскатать эту сферу не в окольные слова, а в прямые виды, то получили бы в конце не прелестную страсть, а опять-таки воробьев, крыс и жаб. За прмерами дело не постоит.

– Продолжай! – требовал Авель.

– Да сколько твоей душе угодно. Вот хотя бы о проски-несисе.

– Я слушаю.

## Корень низкопоклонства

Когда Александр Великий покорял Персию, его свободолюбивые македонцы едва не взбунтовались из-за введенного при дворе нового обычая воздавать царю честь земным поклоном.

Почтительный персидский этот жест по-гречески называется «проскинесис», что можно перевести двояко: «простира-ние» или «пресмыкание», смотря по тому, поставить акцент на исходную позицию как в первом случае, или на способ дальнейшего продвижения как во втором. Правильный проскинесис состоит в том, что лицо, возымевшее свое намерение, изгибается вперед к полу, падает на колени, простирается грудью и животом так, чтобы упереться внизу ладонями и локтями, и кладет опущенную голову на тыльные стороны рук. Затем, с глазами по-прежнему вниз и попеременно переставляя то левые, то правые передние и задние конечности, оно иноходью приближается к стопам намеченной персоны и здесь выжидает, пока та ему вымолвит какую-нибудь милость.

Сатирики сообщали, будто обычай восточных дворов требовал от героев проскинесиса, чтобы они еще и лизали ковер по пути от дверей к ступеням трона. Один даже донес, что дорожку иногда посыпали толченым ядом для подпавших под неудовольствие министров или лакомыми пудрами для фаворитов. Все это, разумеется, сплетни постороннего взгляда, злые преувеличения. Если случаи удобрения траектории и имели место в действительности, то лишь в качестве отдельных эпизодов. Смысл обряда не в этом. Речь у нас не об экзотическом местном правиле, а об одном из коренных и всеобщих установлений.

Ученые, исследовавшие общественную структуру павианьего стада, давно заметили, что вертикальные отношения выявляются здесь путем точно такого же проскинесиса. Младшая обезьяна подползает к владычеству самцу задравши зад и отставляя хвост. И независимо от пола члена общины, ее пастырь может воспользоваться предложенной позой покорности в самых гнусных видах. Телодвижения любви совершаются ради иерархического самоутверждения, а не в интересах продолжения рода уже у павианов, на примере которых мы

видим, как эрос и статус могут совпадать в своей зримой кинетике.

Указание на такую возможность несомненно имеется и в человеческом проскинесисе. Подверженное лицо говорит этим жестом:

– Возлюбленный Владыка! Делай, Обожаемый, со мною все, что только душе Твоей заблагорассудится.

## О забывчивости Боккаччо

На мысль о проскинесисе навели меня, однако, не отчеты зоопсихологов и не опыты журнальных эссеистов, у которых в обычае бить поклоны перед вожатыми самцами из своих фракций и скалить павианьи бивни при виде чужаков. Нет, я вспомнил об этом телодвижении, читая раз про Боккаччо, будто он ничем потусторонним не интересовался, а живописал забавные нравы, передавал житейские слухи да истории из былых времен – и только.

Такому мнению, казалось бы, противоречит фон «Декамерона» – картина страшной чумы, ужас перед которой загнал рассказчиков в тесные кельи любовных сюжетов. Однако тон новелл, в свою очередь, противоречит противоречию, ибо в нем отсутствует потусторонняя замогильная серьезность, испускаемая робкими из нас навстречу всему тому, что может считаться вечным и окончательным, как то: смерть, мир иной и особое знание. И вот, перебирая между фоном и тоном, я все сомневался, кто же такой Боккаччо – легкий забавник или глубинный мудрец, выплясывающий под маской комедианта.

Тут я вспомнил про девушку Алибек, которую учили загонять дьявола в ад. Игривая история в десятой новелле и в наше время служит молодым людям вместо руководства по биомеханике и приоткрывает им дверцу в Храм Любви.

Забудут девяносто девять новелл из ста, и с ними картину заразы, но о том, как загоняли отца Гордыни в отведенное ему место – не забывают. Неудивительно, что и я припомнил эту Алибек. Но если в юности все в ней казалось мне прозрачным и ясным, то сейчас вопросы вставали один за другим.

Прежде всего, почему девушку зовут не по-девичьи?

Али-бек ведь имя мужское, тюркское. Женское было бы «-бегичи», «Али-бегичи», да и вряд ли «Али», уж скорее «Фатьма». Дело было в Капсе, южней Карфагена, в ту пору, когда в Тунисе не слыхивали не только о турках, но и об арабах. Там жили только христиане с язычниками. Итак, ни то, ни другое не подходит под обстоятельства: ни девушка, ни Алибек.

Далее.

Как ни смехотворна наивность невинности, но теория Рустико о том, что его пест есть дьявол, а ее ступка – предназначенный дьяволу ад, глубока и солидна. В ней слышится отзвук «Изумрудной Скрижали»: что вверху, то и внизу. Этот пустынный наставник Рустико – Мужик, Невежда, Темный – был даже слишком начитан.

Кто бы ни была, наша мнимая Алибек, некое особое знание в келье Темного она все же приобрела. Но она искала в пустыне спасения. И тут оказывается, что спасение зависит – как это обычно у гностиков – от посвящения в знание. Вспомним поэтому ход посвящения:

«И тут Темный разделся догола, и его примеру последовала девушка. Потом он встал на колени, словно хотел помолиться...»

Итак, он совершил проскинесис. Перед нами ритуальный поступок, совершенно не имеющий смысла, если принять, что Темным двигала простая похоть. Нагота не должна толковаться здесь ни грубо, ни функционально, но как полная готовность принять откровение от высших начал. Любовь же между

учеником и преподавателем только завершила и увенчала акт обретения спасительного ведения и вхождения в новый свет.

Тот, кто давно не перечитывал эту историю, вряд ли помнит имя супруга просвещенной Алибек. Это был Неербал, «Владыка Светозарный» в переводе с пунийского, или «Люцифер» по-латыни.

Как и Темный, имя «Светозарный» стоит в сплетении с кругом гностических идей, указывая на свет, как на сущность знания. Совершив проскинесис, Алибек получила от Темного посвящение и вошла во свет истины и любви в союзе со Светозарным. Возможно, Рустико и Неербал – одно лицо, просто Боккаччо не изменил его второе имя.

Вообще, все имена здесь когда-то были пунийские. Рустико звали Бор и ли Бур, с которым в пунийском, как и в латыни, соединены идеи сельской жизни, темноты и невежества. Что же до имени Алибек, которое теперь уже невозможно трактовать как соединение четвертого халифа (Али) с турецким титулом «бек», то ему следует вернуть исходную форму. Это Элубэк – «Бог мой знает». Оно компактно примыкает к Темному и к Светозарному.

К тому же кругу мысли относится и описанное в новелле совпадение. Пока Элубэк совершал подвиги в пустыне – постирался, пресмыкался и клал земные поклоны – пожар в родном доме сделал его наследником неисчислимых богатств. Вспомним как Сатана, искушая Христа – также в пустыне – предлагал Ему все царства земные в обмен на простой проскинесис. Отныне сторонникам взгляда на нашего автора, как на забавного рассказчика, если они пожелают сохранить свои теории в неприкосновенности, остается только исключить историю Элубэка из корпуса.

Чтобы заполнить пустое место, я предложил бы им другую новеллу. Она и попроще, а говорится в ней и про ад, и про любовь и даже проскинесис подразумевается.

## Вставная новелла

Жили в каталанском городе, в славной Барселоне, дон Хиндиньо и донья Веруха, он родом из Феррары, она же из Пизы или из Пистойи – не так важно.

На родине дон Хиндиньо звался, по правде говоря, Джиндини и в Каталонии слыл ломбардом, ибо занят был тем, чем знамениты ломбарды за пределами долины речки По, а именно он ссужал деньги в рост под залог. А отец доньи Верухи был лекарь, эскулапова отрасль, от той ее ветви, которая следует учению о равновесии жидких токов и тшится искоренить любой недуг, добавляя к стихиям в теле больного побольше воды или, напротив, отводя ее избытки.

Особенно привержен был наш гидропат к промываниям. Он пользовался для этой процедуры особым сосудом вроде небольшого меха с гладким костяным наконечником и извилистой кишкой, изобретенным в Ионийской Клисме и названным по имени местности, где был придуман, Клисмийской Клепсидрой или, попросту, клизмой. Клисма же эта расположена на взморье Азиатского материка прямо напротив острова Кос, родины великого Гиппократа.

Так вот все болезни отец доньи Верухи лечил при помощи своего водяного насоса.

– Клизма, дочь моя – если бы не она, что стало бы с нами? – говаривал врачеватель, к услугам которого вынужден был частенько прибегать и дон Хиндиньо, страдавший болезнью скупердяев – возвратным запором.

Ибо по свидетельству авторитетов, все наши недомоганья коренятся в порочном составе души. Потому-то расточители мучаются недержанием мочи, а скряги – недугом дона Хиндиньо. Ведь подобные души руководят телом во имя всяческого удержания своего добра, отсюда и случай.

По прошествии нескольких лет самого лекаря схватило

трясение рук, как это бывает со старыми шарлатанами, и удерживать пальцами свой гидравлический инструмент он уже был более не в состоянии. А тут как раз зовут его к дону Хиндиньо.

– Бери, дочка, Клисмийский Фонтан и пошли. Дело не девичье, да иначе не вывернемся.

И вот, преодолевая по первости стыд, оказала она дону Хиндиньо отцовскую любезность, и было так не раз и не два.

Со временем донья Веруха не только утратила свойственную ее нежному возрасту и слабому полу застенчивость, но даже привязалась к скопидому всем сердцем, с нетерпением ждала следующего раза и бегала туда, подчас, вовсе без надобности. В конце концов она в него влюбилась, размечталась, как выйдет за богатого замуж и заживет с ним по-своему. Но не тут-то было.

У доньи Верухи умирает ее отец, дон Веруха.

Отходив положенный траур, является осиротевшая дочь врача к дверям возлюбленного со своим сифоном, а оттуда выходит молодой красавец медик-марран дон Фернандо Изабель де Крузадо-и-Тринидад, имея в руках точно такой же меандр. Та преисполняется ревностью, неистовым бешенством оскорбленного влечения, рухнувших мечтаний и планов. Она бежит в Святой Трибунал и доносит, что дон Хиндиньо еретик, якшается с марранами, берет лихву, алхимик, содомит, некромант, фальшивомонетчик, растлеивает младенцев, живет со старой монахиней и не принадлежит к истинной вере.

Трибунал берется за дону Хиндиньо.

– Веришь ли ты, Хиндиньо, что только покаяние может спасти твою погрязшую душу из сетей золотого тельца?

– Всем сердцем стараюсь...

– И не лицемеришь?

– Как могу, пытаюсь...

– Хорошо сказано! А готов ли ты покаяться?

– Каюсь... – с готовностью отвечает дон Хиндиньо.

– А понимаешь ли ты, что слова твоего покаянья должны быть также зримы, весомы и ощутимы?

Любой поймет...

Короче говоря, не ушел он из Трибунала, пока не раскаялся во всех своих прегрешениях вплоть до последней неправедно нажитой монеты. А как денег другой породы у него и не водилось, то выкарабкался он из допросных комнат словно из материнского лона – такой же богатый.

По этой причине душа его, отторгнутая от источника подвижной силы и возмущенная лишением того питательного блеска, который исходит из сердца благородных металлов, как бы сжалась и наотрез отказалась сообщаться с кишечным трактом. Тут его совсем затормозило, и злосчастный Хиндиньо в быстрых муках скончался.

Является душа дон Хиндиньо в ад, перед грозные очи судьи Миноса с полным и хорошо обоснованным неудовольствием.

– Да ты же лихоимец! – грозит ему Минос. – Сядешь до скончания времен в собственном золоте по глотку.

– У меня этого добра и так по глотку – по справедливости возражает дон Хиндиньо – меж тем как я живьем вернул им все, что имел нажитого.

– А ведь верно. Ну, подожди.

Ждать дону Хиндиньо пришлось лет тридцать, пока не умерла естественной смертью донья Веруха, и душа ее, конечно, направилась прямо в преисподнюю.

Едва завидев робко приближающуюся донью Веруху, Минос накидывается на нее с бранью.

– Доносчица, оговорщица, душегубица, человеконенавистница, лжица, поклепщица, разведчица, наветчица, наводчица, грязная стукачиха!

Она рыдает и объясняется:

– Я же так его любила!

– Любила?! – ревет Минос, и глаза у него на лоб лезут. – Ах ты Иуда Искаротская! Идешь по особому параграфу: «с любимым навеки вместе».

Потрясенная донья Веруха падает замертво, а очнувшись обнаруживает себя клизмой в заднице дона Хиндиньо, отчего ему-то вышло, наконец, обещанное облегчение, чего о ней не скажешь.

С тем вышел и урок любому, кто думает исправить нравы путем доносов, а не посредством кротких увещаний.

От этого примера возникла на земле поговорка:

Кого любовь соединила,  
Того не разлучит и ад.

А Минос, чуть услышит, ухмыляется:

– Что верно, то верно. Тут у меня обручальные кольца своего закала. Разводов не признаем.

Если же кто хочет знать, чем заняты в аду молодцы из Святого Трибунала, пусть возьмет в соображение, что у гидропатов и в преисподней вода – обычное средство, а наши ребята растворяются в ней там почище каустической соды. То же и на таможах.

## НОВЫЙ ВЫХОД

Последующие рассуждения и поступки Феофана были столь тесно связаны с фактами чистой теории, что мы не можем избежать их углубленного и поневоле сухого изложения.

Из опытов нашего физика на примере поэмы «Большой Толчок» и нежного стихотворения об операторе Гамильтона

видно было, что Феофана существование науки в своей области, а искусства – тоже в своей, особой, не удовлетворяло. Авель успел ему разъяснить, что лобовые приемы – например выражение чувств оператору Гамильтона – имеют не более связи с искомым синтезом, чем сам этот оператор с кинофильмом «Леди Гамильтон» и что точное знание, каких умилений ты ни выписывай по поводу его глубины и тонкого смысла, остается одноглазым как адмирал Нельсон.

– Поэтический образ имеет звук, вкус, цвет и запах – излагал Авель азбуку стихосложения. – Ваши же тензоры суть только умственные подтяжки.

– Неверно, что подтяжки – возразил Феофан. – Электроны можно видеть простым глазом. Они блестят.

Так прозвучало это очевидное новшество.

Феофан принялся его обосновывать.

– Пусть в солях или во многих камнях электроны привержены определенным положениям, но в металлах они свободны, образуя особый электронный воздух, который мы видим как металлический блеск. Его природа та же, что и у блеска пламени, когда электроны срываются от высокого жара и формируют тот же самый блестящий воздух, который мы наблюдаем у металлов на холоду. Металлы нужно считать застывшим полыханием. Поэтому они пригодны для изготовления зеркал, позволяющих видеть точный образ того, что помещено перед ними. Скажем, собственное лицо.

Отсюда вело непосредственно в луизины апартаменты, где зеркала висели в самых неподходящих местах.

Вдохновленный тем, как ему удалось увязать это дело с электронами, Феофан ринулся в Заячий Домик.

На углу он догнал крепкую фигуру космонавта Сытина, которая двигалась в том же направлении, но с иными целями: Сытин употреблял зеркала ради первичного созерцания.

– И вы понимаете, космонавт – говорил ему Феофан –

если в строгих кристаллах, жидкостях, стеклах точное расположение электронов и ничтожный размер ядер дают свету место для глубокого проникновения в вещество, то в металлах и жарких плазмах электроны размазаны повсеместно, оставляя свету лишь малый шанс для проникновения в толщу, а прочее отбрасывается назад, к источнику.

– Почему же зеркала не делают из огня? – спросил Сытин, думая о том, сколько полезного материала пропадает понапрасну, когда вырывается из дышла его астрожабля.

– Потому что огонь нелегко сделать гладким. А в принципе огненное зеркало – вполне возможная вещь: достаточно запереть пламя в плоское ровное магнитное поле. В водяных же зеркалах почти весь свет теряется в глубине – они тусклые... А когда мы смотрим на огонь или на металл, мы видим непосредственно свободные электроны. Огненный блеск это признак свободы мельчайшей электрической частицы, которая является нам уже не в виде частицы, но сияющей пространственной мазью.

Не успел Феофан это произнести, как в окрестном пространстве возникло небольшое сияние. Оно двигалось навстречу, раздуваясь до размеров блестящего тела и проследовало мимо, синим взором окинув собеседников. Только обернувшись в спину сиянию, они сумели установить, что центром ему служила Лана Остова, окутанная лоскутами цвета всех оттенков янтаря. Феофан и Сытин смотрели ей вслед, движимые различными поводами.

## Труды Тарбагатая

Покуда двигались эти события, отвергнутый Доржиев вил гнездо на вершине Урала, а Тарбагатая блуждал по учебному поприщу. Ждали, что он станет бывать в Университете,

слушать там разные рассказы, а потом их рассказывать тем, у кого ходил слушать. Обещали несколько таких лет, и Тарбагатай особенно полюбил географию.

Из учебы вытекало, что все острова и материки делятся на одну, две или три геополитические зоны. Так Азия – на Среднюю и Переднюю, Америка – на Северную и Латинскую, а Антарктида, Африка и Австралия ни на что не делились. Зато у Европы было три-четыре, а у Империи – две части: Европейская и Азиатская. Эти большие области жили каждая по-своему. Так, Азию тягло от множества причин, и виною был прирост населения. Поэтому еды нехватало. Приходилось думать о великом переселении голодающего народа на Запад.

Более глубокую причину нужно было различить уже не студенческими мозгами, которые у Тарбагатай, однако, имелись.

Население Азии ведь жило как животный вид: росло в благоприятные годы и немного вымирало при неурожаях. Особенно страдали дети. Зрелища печалей беспокоили западного европейца, и он отправлял на Восток лекарственные порошки, тысячи тонн тонких препаратов. Дети поправлялись и пополняли линию голодающих. Множество детей – живых, голодных – стало частью семьи азиата. Тарбагатай скоро понял, что обрисованный путь бытия основан на столкновении земных опор жизни с сочувствием к детям, к восточным детям, потому что своих потомков все меньше становилось на Западе.

Отсюда дальнейший ход его мысли.

В начале четвертичного периода, при оледенении, человек произошел от обезьяны и лемура. Крупные млекопитающие вымирали в ту пору массами, и Адам бродил следом, пожирая их трупы вместе со стаями гиен или собак и отличаясь лишь огромной головой и двумя ногами, которых у тех было по четыре. В межледниковую эпоху человек стал жить по всей земле, а в последующее оледенение, когда звери вымерли,

вымерла и ббльшая часть людей, причем те, которые оставались, изменили своим правилам. Они образовали особые племена, например Мотыгины. Каждый род ждал, чтобы сделаться независимым видом зверя, просуществуй он достаточно долго в морозном панцире, но такому течению препятствовали все новые теплые паузы, во время которых женщин похищали инородцы, а значит личные связи могли сохраняться поперек человечества, которое оставалось одной семьей.

В пределах системы времен  
поток человечества  
напоминает о доме в пространственной сфере.  
Как человечье местечко не есть отточенный пункт,  
примятый его центром тяжести,  
так и его «сейчас» – не точечный, но протяжный.  
Мы говорим: «наше время»,  
сжимая его границы  
сроками жизни всех наших сверстников  
среднего возраста.

Мы говорим «ваше время»  
В том же смысле относительно ваших сверстников.  
Бывает, оба времени вместе отчасти,  
в той части, где сама жизнь  
подвижно отдает должное и вашим и нашим.  
Если же наши уже старики,  
но еще не родились ваши,  
мы видим эпохи истории (две)  
отделенные рваною разницей  
которую, по отсутствию твердых ролей,  
кристаллограф бы чтит полужидкою,  
подвижною, полувоздушною,  
ибо дети не рождаются умирающими  
ибо триста лет – век вороны и черепахи

ибо центр жизни – вот он  
и мы перед вами.

Иную картину дают любые моржи: морской лев, морской слон, морской кит, морской ветер, морской котик, морской енот, морской бобер, морской бык, то есть бык морской коровы и другие.

## Людские иконы

Попытки сотворить умного общественного человека осуществлялись природой с невероятной древности.

Еще кишечнополостные, которых наука из многоклеточных признает простейшими, проявили усердие в эту сторону, стараясь построить коллективный организм в открытом море. Плод их усердия принял образ так называемого «португальского корабля», военного суденышка.

На вид кораблик обычное животное: фиолетовый пузырь с гребнем, а с него свисают на тридцатиметровую глубину вниз жидкие ноги, сам же пузырь, если смотреть по поперечнику – раз в сто поменьше. Но взглядемся пристальнее, и мы увидим, что это судно представляет собою прочное собрание отдельных живых медуз.

Между индивидуальными медузами существует разделение труда в меру их жизненных нужд и функций. Самая большая медуза и есть тот плавательный пузырь с гребнем. Окрашенная в пурпур, в волнах по пояс, она тянет за собою по ветру остальной хлипкий коллектив, погруженный целиком в соленую морскую толщу. Среди составляющих его других отдельных корабликовых выделяются любвеобильные полипы. Эти заняты размножением. На каждом корабле их встретишь обоюго пола. Есть еще медузы отпугивающие, стрекатель-

ницы ядом, убийцы врагов и жертв, которые следуют в пищу. Но пережевыванием и перевариванием еды заняты уже не они, а другие и третьи. Четвертые обеспечивают выделение. Так устроен португальский кораблик: как бы индивидуум на вид, но сложная община по сути. Удивительной чертой корабля служит ему верхний малиновый гребень. Это настоящий парус. Поставленный отроду направо или налево, он ведет свое судно к югу или к северу с восточным пассатом. Так и кружится он в океане вечно, не зная зим, не помня лет и ничто не может выкинуть на американский берег наш плавучий муравейник. А роль муравьев в плакучем государстве играют медузы.

Теперь идут сами муравьи. Об этих членистоногих довольно сказать, что им знакомо скотоводство и земледелие. Разводят живых тлей различных пород, доят их, пьют молоко, а сыр выдeldывают из плесени, которую выращивают в подземельях. Знакомо им и рабство.

Человеческой чертой у семейных насекомых – не только у муравьев, но и у ос, и у термитов – нужно признать способность к бессмысленным поступкам. Часто они уносят то, в чем не нуждаются вовсе. Оса кормит, собственно, дырку, в которую отложила яйцо, а собственное дитя даже не узнаёт, если извлечь из норы. Человечество же до последних веков только и мучилось, что скотоводством и земледелием, во всем подобное муравьям. Но у муравья мозгу – единственный ганглий, а у человека – целый килограмм. Что же обмозговывал этот избыточный килограмм в течение тысячелетий? Чем был обременен и одолжен? На кой черт, вообще, нужен? Я тут не о художниках, не о металлургах, но о пастухах и хлебопашцах. Для этих дел, как кидно, довольно было бы и ганглия.

Из моллюсков остановлюсь на береговых спрутах.

Эти умеют строить каменные укрепления: дома, двери, окна, крыши, шкафы. Когда едят, пища проходит у них прямо через мозг с огромными умными глазами. Любовь у спрутов –

яркое личное чувство. Когда подходит пора, самец обнаруживает у себя лишнюю ногу, которая должна стать чем-то вроде любовного послания. Вот он и шлет его своей возлюбленной. Отрывает ногу, а та плывет, руководствуясь вкусом и запахом влаги, а затем углубляется под мантию. Избранница разворачивает, читает, проникается ответным чувством и тяжелеет. За это их и зовут «головоногими».

Пример первого человека среди позвоночных дает хамелеон. Глубокий и незащитный индивидуалист, он настоящий художник, холстом которому служит собственная шкура. Любой рисунок, какой угодно натюрморт, пейзаж или орнамент ему доступен. Знай хамелеон грамоту, он мог бы делать на себе даже краткие надписи: какие-нибудь верные мысли, отборные изречения. Вид у хамелеона сосредоточенный, как и подобает создателю эфемерных чудес. Под шлемовидным черепом высшего пресмыкающегося сосредоточен огромный мозг, который управляет восемью сдвоенными или строенными пальцами четырех лап, длиннейшим языком на всем его протяжении, любым позвонком хвоста; каждой точкой кожи своего цвета и парой самостоятельных глаз на конических выступах. Ноги у хамелеона тонкие, высокие, хрупкие. Когда идет по земле, шагает широко, голову вперед, оттянув хвост, и похож на ящерицу, играющую роль Дон-Кихота в театре. При этом он никогда не убегает, а только шипит. Язык и хвост у него одинакового размера с туловищем.

Иногда хамелеон сидит задумавшись. Если застать его за этим делом, можно подсмотреть, как он рисует: то линию на камне, то лист в клетку – совершенно бесполезные легкие пустые картины, которые ни ему, ни кому другому невозможно пустить в толк.

Я видел однажды, как хамелеон снес полдюжины яиц, трижды покрылся радугой и вскоре скончался, оставив по себе труп серый как пепел.

